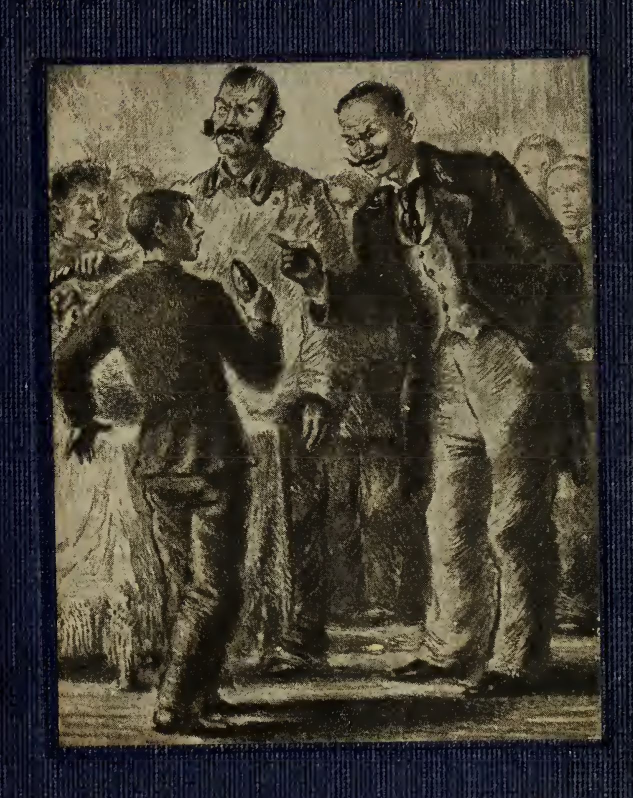
К. ЧУКОВСКИЙ



ГИМНАЗИЯ


SEAL·OF·THE·UNIVERSITY·OF·CALIFORNIA
LET THERE BE LIGHT
·1868·

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

ГИМНАЗИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

Рисунки К. Клементьевой



Центральный Комитет
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1938 Ленинград

СТАТЬЯ 121. Граждане СССР имеют право на образование.

Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным образованием, бесплатностью образования, включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.

(Из Сталинской Конституции Союза Советских Социалистических Республик.)



Глава первая

ТЕЛЕФОН

Зуев высыпал из ранца полдюжины мелких иконок — медных, жестяных, деревянных, бумажных, — разложил их перед собою на парте и стал деловито целовать их подряд, боясь пропустить хоть одну: как бы она не обиделась и не сделала ему какой-нибудь гадости.

Зуев молился недаром. Через три или четыре минуты в нашем классе начнется диктовка, страшная диктовка, которую мы ждали одиннадцать дней.

Одиннадцать дней назад к нам, стуча каблучками, вошел наш директор Бурмейстер (Шестиглазый, как мы звали его) и, словно читая стихи, сообщил нам своим певучим, красивым, театральным, торжественным голосом, что

господин попечитель учебного округа
его сиятельство граф Николай Эдуардович Люстих
на-днях осчастливит наш класс посещением
и, возможно, пожелает присутствовать
на русском
уроке
во время
диктовки.

Теперь этот день наступил.

Мне особенно жалко Тимошу Макарова, сидящего сзади, наиско-

сок от меня. У него недавно был тиф, и он сильно отстал от класса. Его лопоухое, рыжее от веснушек лицо выражает смертельный испуг.

— Тимоша... погоди... я придумал!

В одну секунду я вытаскиваю у себя из-за пазухи веревочный хвост от бумажного змея, привязываю к своему башмаку, а другой конец сую Тимоше:

— Привяжи к ноге... да покрепче!

И покуда он возится с узлами хвоста, говорю:

— Дерну раз — запятая. Два — восклицательный. Три — вопросительный. Четыре — двоеточие. Понял?

Тимоша весело кивает головою и пыжится сказать мне какое-то слово. Но он — заика, и изо рта у него вылетают только две-три буквы да брызги слюны.

Рядом с ним сидит Муня Блохин, маленький, кучерявый и быстрый. Он тотчас ныряет под парту: расширить телефонную сеть.

Не может же он допустить, чтобы таким замечательным изобретением пользовался один человек. Нет, за спиной у Тимоши сидит второгодник Бугай. Нужно провести телефон и к нему.

Блохин достает из кармана бечевку и протягивает ее от Тимоши к Бугаю. Тот быстро прикрепляет ее к своей правой ноге.

Рядом с Бугаем — Козельский, последний ученик в нашем классе, Зюзя Козельский — плакса, попрошайка, трус.

Нужно провести телефон и к нему, не то он заскулит и захнычет и выдаст нас всех с головой.

За Зюзей Козельским, на «камчатке», у самой стены сидят знаменитые на всю гимназию губошлепы и лодыри, пучеглазые братья Бабенчиковы. У них кулаки, как гири, — нужно протянуть телефонные нити и к ним.

— Не забудьте же, — повторяет Блохин: — раз — запятая, два — восклицательный, три — вопросительный, четыре — двоеточие. Поняли?

А Зуев, хоть и крестится, хоть и бормочет молитвы, но краем глаза все время поглядывает на меня и на Муню. И вдруг сгребает, как лопатой, всех своих святителей в ранец, срывает у себя с шеи шнурок и, опустившись на колени под партой, хозяйственно привязывает его к моему башмаку.

В нашем классе я считался чемпионом диктовки. Не знаю, отчего, но чуть не с семилетнего возраста я писал без одной ошибки самые дремучие фразы. В запятых не ошибался никогда.

По другим предметам я бывал зачастую слаб, но по русскому языку у меня была сплошная пятерка, хотя случалось, что тут же, по соседству с пятеркой, мне ставили в тетради единицу — за кляксы. Писать без клякс я тогда не умел, и все мои пальцы после каждой диктовки обычно были измазаны чернилами так, словно я нарочно совал их в чернильницу.

Но вот распахнулась дверь. В класс вошел не Бурмейстер, не сиятельный Люстих, которым нас пугали одиннадцать дней, а какой-то дубоватый незнакомец с топорным лицом истукана. И немедленно начал диктовать нам диктовку.

Пришлось поработать моей правой ноге! Все время, пока длилась диктовка, я дергал, и дергал, и дергал ногою, так что у меня даже в глазах потемнело.

Диктовка была такая (я запомнил ее от слова до слова):

«В тот день (д ё р г!), когда доблестный Игорь (д ё р г!), ведущий войска из лесов и болот (д ё р г!), увидел (д ё р г!), что в поле (д ё р г!), где стояли враги (д ё р г!), поднялось зловещее облако пыли (д ё р г!), он сказал (д ё р г! д ё р г! д ё р г! д ё р г!): «Как сладко умереть за отчизну!» (д ё р г! д ё р г!).

Наши парты дрожали, как в судороге. Я безустали передавал свои сигналы Муне, Тимоше, Зуеву. Тимоша передавал их Бугаю, Муня — Козельскому и братьям Бабенчиковым.

По окончании диктовки дубоватый незнакомец с топорным лицом истукана взял наши тетради и унес неизвестно куда. Это был, как потом оказалось, чиновник из канцелярии попечителя Люстиха.

И благодарила же меня вся спасенная мною шестерка! Зюзя Козельский обещал мне одного из своих голубей, братья Бабенчиковы — полную фуражку изюму, так как у их отца на Екатерининской улице была лучшая в городе лавка, где продавались финики, фиги, кокосовые орехи, халва.

Через неделю в класс деревянной походкой снова вошел незнакомец в сопровождении нашего учителя Флерова и заявил, что, по приказу господина попечителя учебного округа его сиятельства графа фон-Люстиха, комиссия по проверке успехов учащихся рассмотрела тетради с написанной нами диктовкой и отметила одну странную вещь...

Незнакомец порылся в тетрадях.

— Вот хотя бы Зуев Григорий и Козельский Иосиф... Нельзя ли пригласить их к доске?

Зуев и Козельский с удовольствием подбежали к доске и скромно приосанились, ожидая похвал.

Незнакомец глянул на них и вдруг, к удивлению класса, улыбнулся, совсем как живой человек. И, повернувшись к доске, написал на ней мелом такое:

«В тот день когда доблестный Игорь ведущий? войска из-за лесов и болот увидел что в поле где? стояли, враги поднялось!? зловещее облако пыли?»

— Вот как написал свою диктовку ученик третьего класса Козельский Иосиф. За такую диктовку единица, конечно, слишком большая отметка. Мы ставим Козельскому Иосифу нуль, равно как и Григорию Зуеву.

Все захохотали, кто-то свистнул. Незнакомец постучал деревянным своим пальцем по кафедре и проговорил уже без всякой улыбки:

— Но есть среди вас такие, что даже нуля недостойны. Это Максим и Александр Бабенчиковы... Бабенчиков Александр написал свою диктовку вот так:

«В тот день когда доблестный Игорь веду,щий вой!ска из ле?сов и бо,лот уви?дел что в поле где стоя,ли вра!ги поднялось зловещее об,лако пы??ли он сказал как слад,ко умереть за от,чиз,ну».

Беда произошла оттого, что почерк был у меня очень медленный, детский, а у товарищей — быстрый. Да и проклятые кляксы сильно тормозили меня. Когда я с трудом выводил третье или четвертое слово, мои товарищи уже писали седьмое, девятое. Слепо понадеявшись на мой телефон, они не шевелили мозгами и готовы были ставить запятые внутри каждого слова, разрезая его пополам, чего сроду не делал самый отпетый дурак с тех пор, как на свете существует диктовка.

После этого дня я долго не мог ни кашлянуть, ни засмеяться, ни вздохнуть, ни чихнуть — так болели у меня ребра от той благодарности, которую выразили мне мои сверстники, главным образом братья Бабенчиковы. Напрасно я указывал им, что ни одно изобретение не бывает на первых порах совершенным: они были глухи к моим слезам и протестам.

Вернулся я в гимназию лишь на четвертые сутки.

Молва о телефоне гудела и в коридорах и в классах.

Но Шестиглазый предпочел притвориться, будто ничего не слыхал: иначе ему пришлось бы воздать по заслугам и Гришке Зуеву и братьям Бабенчиковым, которые по особым причинам пользовались его благосклонностью.

Вскоре начались у нас экзамены. Я совсем забыл о телефоне. Но через два года, в пятом классе, случилась со мною беда, о которой я сейчас расскажу. Тут-то мне и припомнили мой телефон, и я понес такое наказание, какого не забуду до конца моих дней.

Всему виною был гимназический поп.

Глава вторая

«ДА-ДА-ДА!»

Звали попа Мелетий. Был он какой-то задумчивый. Соберет всю бороду в кулак, уставится в одну точку и повторяет мечтательно:

— Да-да-да-да-да-да!

Отвечаешь ему урок, а он смотрит сквозь тебя куда-то вдаль и говорит невпопад, поддакивая своим собственным мыслям:

— Да-а-а!

Конечно, мне захотелось сосчитать, сколько раз в течение урока он произнесет это слово. Я стал записывать пальцем на парте (всякий раз мокая палец в рот): «34... 40... 48... 53... 60...»

Моим соседом был Зуев, большеголовый пройдоха. В первые минуты он равнодушно глядел на мои вычисления, но в классе стояла такая скучища, что надо же было заняться каким-нибудь делом. И вот, поплевав на палец, Зуев тоже начинает исписывать цифрами свою половину парты.

Понемногу мы оба приходим в азарт.

Всякий раз, когда замечтавшийся поп произносит свое «да-да-да», мы, торжествуя, стираем ладонями предыдущую цифру и быстро пишем новую. Каждое свежее «да» радует нас, как выигрыш.

Но вскоре я с негодованием замечаю, что Зуев начинает мошенничать. Вместо 211 он ставит 290, а потом сейчас же 320. Его мошенничество возмущает меня. В гневе я вторгаюсь на его территорию, стираю его фальшивую цифру и ставлю верную: 211.

Зуев чувствует себя жестоко обиженным. Он сопит, округляет глаза, и его щекастое лицо наливается кровью.

Вдруг, словно с неба, к нам доносится голос Мелетия:

— Зуев... и ты... как тебя? Ну-кося повторите, о чем я сейчас говорил.

Странное дело: нельзя сказать, что мы слушали этот урок невнимательно. Напротив. Для того чтобы не пропустить ни одного

«да-да-да», мы должны были жадно вслушиваться в каждое слово Мелетия. Но, кроме «да-да-да», мы, оказывается, ничего не слыхали. Потому что рыбак ловит сетями не воду, а рыбу.

Мы стояли растерянные и бормотали несвязное. Зуеву повезло: его большая, круглая, как арбуз, голова была от природы такая тяжелая, что в иные минуты не могла удержаться на шее и свисала то вправо, то влево. Это придавало ему вид удрученного грешника, переживающего муки раскаяния.

Попу Мелетию его покаянная поза понравилась: поп Мелетий любил плачущих, покорных, униженных. Он прищурил глазок и залюбовался тоскующим Зуевым, как художник картиной. И благосклонно произнес:

— Да-да-да!

— Четыреста двенадцать, — еле слышно сказал мне Зуев, сохраняя ту же лицемерную позу страдальца, плачущего о своих прегрешениях.

— Врешь! — возразил я запальчиво. — Не четыреста двенадцать, а двести четырнадцать!

Голос у меня был визгливый, и мое «врешь» прозвучало, как выстрел.

Мелетий взлохматил бороду.

— Сейчас же ступай к доске, — сказал он, — и объяви всему классу о причинах твоего неблагопристойного вопля.

И прибавил внушительно:

— Да!

Это новое «да» почему-то рассмешило меня.

— Смеешься! — рассердился Мелетий. — Радуешься, что мерзким своим поведением развращаешь благочестивого Зуева!

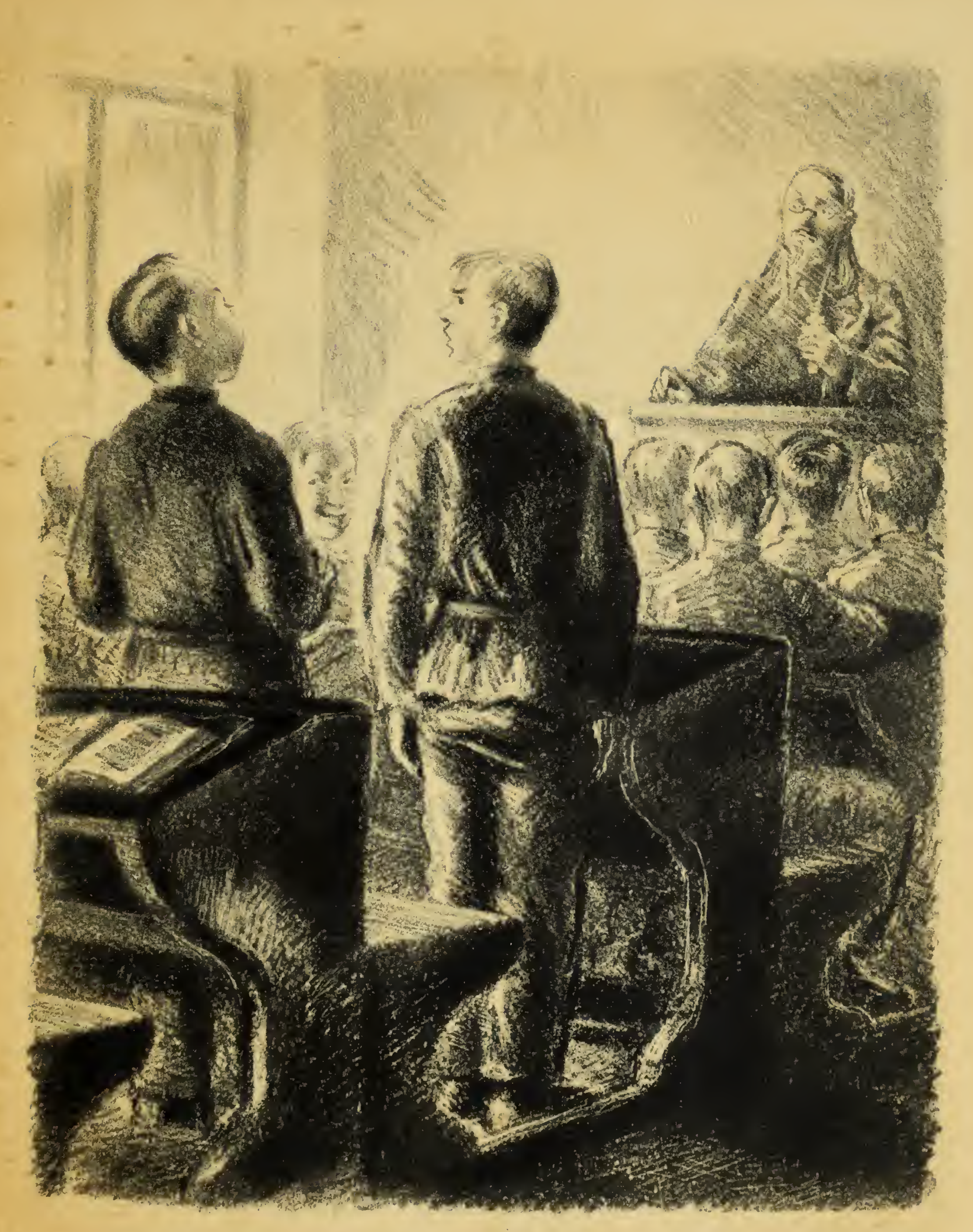
Тут уж захихикал весь класс. «Благочестивый» Зуев был отъявленный сквернослов и ругатель.

Желая показать отцу Мелетию, что я вовсе не так плох, как он думает, что у меня и в помыслах не было развращать «благочестивого» Зуева, я решил открыть ему всю правду.

— У вас, батюшка, — сказал я любезно и вкрадчиво, — есть привычка часто говорить «да-да-да». И вот мне захотелось подсчитать, сколько раз в течение урока...

Мелетий не дал мне договорить и, ухватив свою бороду, стал яростно вырывать из нее волоски.

Это всегда выражало у него высшую степень гнева: чем сильнее



— *Врешь! — возразил я запальчиво.*

был он рассержен, тем беспощаднее терзал свою бороду. И успокаивался только тогда, когда вырывал из нее два или три волоска.

Теперь он вырвал их не меньше десяти и, вырвав, сложил их рядом, один к одному на черном переплете классного журнала, дунул на них что есть силы и заговорил очень медленно, глухим, еле слышным шопотом (в минуты гнева его голос всегда опускался до шопота). Он говорил, что он служитель алтаря — да-да-да! — и не допустит, — да-да-да! — чтобы всякий молокосос, — да-да-да!..

Говорил он долго и тем же шопотом, который был для меня хуже всякого крика, потребовал, чтобы я немедленно вышел из класса.

Я вышел в коридор и встал у двери...

Мелетий продолжал говорить о моих злодеяниях, называя меня каким-то коварным онагром. Что такое онагр, я в то время не знал, но это прозвище мне не понравилось, и я тихонько отодвинулся от двери.

Близилась большая перемена.

В конце коридора зазвякали стаканы и блюдца.

Наш гимназический сторож, которого звали Пушкин, расставлял на длинном столе, застланном белою скатертью, бутылки с молоком, колбасу, пирожки, бутерброды.

В кармане у меня случайно оказались четыре копейки. Я помчался к Пушкину и купил пирожок. Только что я взял его в рот, — динь-дилень! — зазвонил колокольчик, и из всех дверей стали выбегать гимназисты. Вот и поп Мелетий, придерживая рукою серебряный крест на груди, поспешает мелкими шажками в учительскую.

Я бегу к нему и говорю:

— Батюшка, простите, пожалуйста!

Но рот у меня набит пирожком, и у меня получается:

— Баюа, поие, поауа.

Он поворачивает ко мне лохматую голову, и вдруг чахлые губы его искажаются ужасом.

— Ты... ты... ты...— говорит он, задыхаясь от гнева, и хватает меня за плечо.

Я гляжу на него с изумлением, и тут мне становится ясно, что я опять оказался преступником. Теперь-то мне не будет пощады! Потому что пирожок у меня — с мясом! Сегодня же, как нарочно, пятница, а Мелетий тысячу раз говорил нам, чтобы по средам и пятницам, особенно великим постом, мы, православные, и думать не смели

о мясе, ибо господь-бог будто бы обижается, если мы съедим в эти дни кусочек ветчины или, скажем, говядины. Я этому не слишком-то верил: неужели господу-богу не скучно заглядывать каждому школьнику в рот! Но Мелетий чуть не на каждом уроке твердил нам, что это именно так, и горе тому нечестивцу, который сегодня (в пятницу!) дерзнул предстать перед ним с мясным пирожком — нарочно, чтобы поиздеваться над ним, — да-да-да!

Непрожеванный кусок этой преступной еды так и застрял в моем горле.

Я понял, что мне прощения нет, но все же лепетал механически:

— Батюшка, простите, пожалуйста!

Мне лично его прощение было не нужно, но на Рыбной улице во флигеле, в доме Макри, жила моя мать, молчаливая, печальная женщина, и я знал, что моя ссора с попом будет для нее большим несчастьем.

Всякий раз, когда в гимназии со мною случалась беда, мама брала полотенце, смачивала его уксусом и обматывала вокруг головы. Это значило, что целые сутки она будет лежать без движения, полумертвая, с почернелыми веками, и у нее будет болеть голова.

Я готов был сделать все на свете, лишь бы голова у нее перестала болеть.

Вот я бегу за попом и со слезами умоляю его:

— Батюшка, простите меня!

Но по его насупленным белесым бровям, по вздернутому крохотному носику, по искривленной нижней губе я вижу, что тут личная обида, за которую этот человек уже не может не мстить.

Никогда не забуду тех слов, которые он сказал мне в ответ:

— Как христианин я прощаю тебя. Как твой духовный отец я молюсь за тебя. Но как законоучитель я обязан тебя покарать... ради твоего же спасения.

Вокруг собралась толпа. В толпе я увидел Зуева. Он стоял за спиной у Мелетия и с самой простодушной улыбкой обсасывал куриную ножку. Его широкое, мясистое, бабье лицо лоснилось от куриного жира.

Вдруг Мелетий заулыбался, закланялся: к нам, стуча высокими каблучками маленьких щегольских башмачков, подошел Шестиглазый и тотчас же обратился ко мне на своем шутовском языке:

— Слышал, слышал о ваших художествах! Не будете ли вы великодушны пожаловать ко мне... сюда... в рыдальню?

Директор был немец: Бурмейстер. Как и многие обруселые немцы, он изъяснялся на преувеличенном русском наречии и любил такие слова, как «галдёж», «невтерпёж», «фу ты, ну ты», «намедни», «давеча», «вестимо», «ай-люли».

Этим наречием он владел превосходно, но почему-то оно вызывало во мне тошноту. Может быть, потому что изо рта у директора несло многолетним перегаром сигар. Словно для того, чтобы усилить эту пытку зловонием, он, распекая «рыдальцев» (так называл он провинившихся школьников), всегда вплотную придвигал к их носам близорукую свою физиономию. Распекал он всегда очень долго, так как сам упивался своим краснобайством, и даже наедине с каким-нибудь малышом-первоклассником произносил такие кудрявые речи, словно перед ним были тысячи слушателей.

Когда я приблизился к двери его кабинета, там уже стоял один «рыдалец». Это был распухший от слез, испуганный Зюзя Козельский.

Шестиглазый так энергично надвинулся на него всем своим корпусом, словно хотел вдавить его в стену. Несчастный не только спиною, но головою и пятками прижался к стене, пылко желая, чтобы стена проглотила его. Но стена была каменная, и Шестиглазый мог сколько угодно услаждать свою душу пустословием.

— Могу ли я верить глазам? — декламировал он, отступая на шаг и помахивая в такт своей речи какой-то измятой тетрадью. — Не обманывает ли меня мое зрение? Не мираж ли передо мною? Не призрак ли? Неужели это ты, Козельский, тот самый Иосиф Козельский, который еще в прошлом году был гордостью наставников, утехой родителей, радостью братьев, опорой семьи...

В таком стиле он мог говорить без конца, подражая величайшим ораторам древности. Не меньше получаса терзал он Козельского, и только к концу этого получаса я понял, в чем заключается преступление Зюзи.

Преступление было немалое.

Началось с того, что Зюзя получил на этой неделе целых две единицы — по каким предметам, не помню. Эти единицы были вписаны классным наставником Флеровым в его школьный дневник. И он должен был показать их отцу, чтобы тот подписался под ними. Но так как Зюзин отец, владелец «Воронцовской аптеки» у Воронцовского сада, грозился избить его за первую же дурную отметку, он, по совету своего товарища Тюнтина, переделал в своем дневнике обе единицы на четверки. Я сам видел через окно раздевальной, как

Тюнтин, сидя на подоконнике, обучал этому делу Козельского. Дело было нетрудное. Отец Козельский не заметил обмана и подписался под фальшивыми четверками с большим удовольствием.

Но Зюзя был малоопытный жулик: когда ему пришлось превращать четверки «назад» в единицы (для предъявления классному наставнику), он так неумело стирал лишние черточки перочинным ножом, что вместо них образовались две дырки.

Что было делать? Если классный наставник увидит эти ужасные дырки, лучше Зюзе не возвращаться домой.

Нужно было скрыть следы преступления.

И вот вчера вечером, по совету того же Тюнтина, Зюзя решил похоронить свои единицы в глубокой могиле, из которой они не могли бы воскреснуть. Пробрался тайком в наш гимназический сад, выкопал под акацией ямку и положил туда свой многострадальный дневник.

Он был уверен (и в этом уверял его Тюнтин), что, чуть он заявит о пропаже своего дневника, ему тотчас же выдадут новый, без единиц и двоек, без клякс, без замечаний, — и тогда он начнет новую, прекрасную жизнь.

Был лишь один свидетель этих тайных ночных похорон: пес Эсхил, ньюфаундлендской породы. Эсхил принадлежал Шестиглазому. Шестиглазый каждое воскресенье прогуливался с Эсхилом по приморской аллее с незажженной сигарой во рту. У Эсхила были добрые, человечьи глаза. Они глядели на Зюзю с братским сочувствием.

И этот-то ласковый пес, так приветливо вилявший своим добрым хвостом, предал Зюзю, как последний подлец.

Чуть только Зюзина работа была кончена и Зюзя удалился, счастливый, — собака разрыла своими добрыми лапами могильную насыпь, схватила зубами похороненный под нею дневник и, не понимая всей безнравственности своего поведения, побежала прямо к Шестиглазому, замахала добрым хвостом и положила добычу к ногам повелителя.

Теперь этот дневник находился в правой руке Шестиглазого, вымазанный землею, измятый и рваный. Шестиглазый изящно помахивал им перед носом Козельского, угрожая преступнику чуть не Сибирью.

Слушать этот вздор было скучно. И я перестал его слушать.

Я так глубоко задумался о собственных своих злоключениях, что даже не заметил, как Зюзя ушел. Я знал, что мне предстоит такая же

глупая пытка: целый час прижиматься к стене и слушать монологи Шестиглазого.

Но дело обернулось еще хуже.

Он сразу накинулся на меня со всеми своими громами и молниями.

Из его слов я узнал, что я величайший злодей, какой только существует под солнцем, что я издеваюсь над обрядами церкви, развращаю благочестивого Зуева, устраиваю десятки снарядов для сигнализации во время диктовки (вот когда он вспомнил о моем телефоне!) и нарочно даю неверные сигналы товарищам, чтобы они получали нули...

— Нарочно?!

— Нарочно! Нарочно! И ты думаешь, я не знаю, — вскричал Шестиглазый, надвигаясь на меня еще ближе, — что это ты подбил Иосифа Козельского переделать единицы в четверки и зарыть под деревом дневник?

— Я?!

Словно кто ударил меня кнутом по глазам.

Ведь только здесь, только в этой комнате, только десять минут назад я узнал от самого Шестиглазого, что́ сделал Зюзя Козельский со своим дневником. Поступок Зюзи был, по-моему, глуповат и труслив; и разве я не видел своими глазами, как Валька Тюнтин, воровски озираясь, учил Зюзю на окне раздевальной переделывать единицы в четверки? Несправедливые обвинения, возведенные против меня Шестиглазым, так ошеломили меня, что я сделался сам не свой и совсем забыл о дисциплине. Я закричал Шестиглазому прямо в лицо, что все это ложь, ложь, ложь, и когда он попытался продолжать свою речь, я с визгом зажал себе уши руками, чтобы не слышать этой невыносимой неправды.

Шестиглазый схватил меня за руки и стал отдирать их от моих ушей, но я сопротивлялся отчаянно.

В конце концов ему удалось завладеть моим ухом, и он прокричал туда, уже без всяких фиоритур красноречия, что о моем буйстве он доложит совету, а покуда, до того как будет вынесен мне приговор, он исключает меня из гимназии на две недели, и пусть завтра, в субботу, — или нет, в понедельник, — придет к нему моя мать, которая... которая.... Впрочем, он лично побеседует с нею... и пусть она пеняет на себя, что воспитала меня таким негодяем.

Глава третья

НЕВЕСЕЛАЯ ДОРОГА.—ЦИНДИЛИНДЕР

Измученный шел я в этот вечер из гимназии домой.

Помню, подбежал ко мне Лёня Алигераки, соседский мальчишка, и стал показывать большую стеклянную банку с какой-то усатой рыбиной песочного цвета, которую поймал он руками, и я еле сдержался, чтобы не хватить эту банку о камни.

Мрачный повернул я на Канатную улицу. Мимо проехал воз, доверху груженный камышом.

Еще не встречалось мне камышиного воза, из которого я не выдернул бы себе камышинки. Для этого была выработана у меня особая техника.

Всякая камышинка была для меня драгоценностью. Из нее можно было сделать себе косматую пику и сражаться на заднем дворе с шайкой Хацкеля Кура. Из нее можно было смастерить себе дудку и дудить под окнами у сумасшедшего Беньки, покуда Бенька не выскочит и не закричит:

— Скандибобером!

Из нее можно было сделать раму для бумажного змея и запустить его так высоко, чтобы тебе позавидовал сам Хацкель Кур, хромоногий кузнец, знаменитейший змеепускатель нашей улицы.

Но сегодня я даже не сделал попытки подойти к этому возу поближе, хотя было довольно темно и я свободно мог выдернуть не одну камышинку.

У меня в ту пору было секретное горе, о котором я еще ни разу никому не рассказывал. Может быть, я расскажу о нем здесь. Но кроме секретного горя, которое было при мне постоянно, чуть ли не с семилетнего возраста, — это новое, свалившееся на меня сегодня в гимназии, тяжело придавило меня.

На углу Канатной и Рыбной под ноги мне попалась жестянка — круглая, легкая, звонкая.

В другое время я непременно ткнул бы ее носком сапога, она помчалась бы, громыхая, по камням мостовой, я побежал бы за ней и гнал бы ее до самых ворот, а потом припрятал бы где-нибудь в мусорной куче, чтобы гнать ее завтра назад по дороге в гимназию: это было одно из самых любимых моих развлечений. Но теперь я угрюмо отшвырнул ее в сторону и согнулся еще больше, чем всегда, потому что в детстве я был очень сутулый и при всякой невзгоде сгибался,

как вопросительный знак. Уличные мальчишки за это звали меня «гандрыбатым».

Если бы мама ругала или била меня, мне было бы легче. Но она не скажет ни слова, она только рухнет в постель, и лицо у нее станет желтым, и веки у нее потемнеют, и голова у нее будет болеть, и жизнь для нее прекратится на несколько дней... И что сделается с нею в понедельник, когда она, изнуренная, встанет с постели и, еле передвигая ногами, пойдет к Шестиглазому, а он, вымотав у нее все жилы своим красноречием, скажет ей высокоторжественным голосом, что ее сын негодяй и что одна ему дорога — в босяки?

Мама у меня очень бесстрашная. В жизни у нее есть один только страх: как бы не исключили меня из гимназии. Этого она боится больше смерти.

Ужасно не хочется возвращаться домой. Я останавливаюсь перед большим магазином «Гастрономическая торговля братьев В. И. и М. И. Сарафановых» и рассматриваю колбасы, маслины, икру, балыки, сыры.

Этот магазин кажется мне великолепным дворцом. Здесь и я бываю покупателем. Всякий раз, когда у мамы получка, я прибегаю сюда, зажав в кулаке полтинник, и чувствую себя важной персоной, и говорю надменному приказчику:

— Четверть фунта ветчины и четверть фунта масла!

И надменный приказчик почтительно спрашивает:

— Что еще прикажете?

И я важно говорю:

— Ничего!

— Пожалуйте в кассу! — говорит надменный приказчик.

Хотелось бы мне когда-нибудь отведать икры. Говорят, она замечательно вкусная, но такая дорогая, что едят ее только генералы с министрами. Или такие богачи, как мадам Чумаченко. Интересно: ест ли икру Шестиглазый? Конечно, ест. И огромными порциями.

Обычно перед этим магазином меня охватывает бурный аппетит. Так, кажется, и проглотил бы всю витрину. Но сегодня даже икра не привлекает меня, хотя за весь день я только и съел, что этот проклятый мясной пирожок.

Я иду дальше и все сильнее сгибаюсь, будто в ранце у меня кирпичи. Мимо проходит черный, как жук, гимназист, которого мы все называем Спиноза. Это — восьмиклассник Мейер из нашей гимназии. Лоб у него нахмуренный, глаза без улыбки, одутловатое лицо непод-

вижно. У самого подбородка он держит раскрытую книгу и читает ее на ходу. Мальчишки, выбежавшие из кузницы Хацкеля Кура, кидают ему под ноги всякую дрянь, чтобы он споткнулся и выронил книгу.

Но и спотыкаясь, он продолжает читать. Он читает всегда и везде, в самых неподходящих местах: в булочной, в купальне, на кладбище, и потому кажется мне самым ученым и самым умным человеком на свете.

В другое время я непременно погнался бы за дрянными мальчишками, но сегодня я тотчас же забываю о них и иду дальше, растравляя в себе свое горе.

Поверит ли мама, что я ни в чем, ни в чем не виноват?.. А если виноват, то чуть-чуть... И дернуло меня обидеть Мелетия!.. Но можно ли за это выгонять из гимназии?..

Вот и дом мадам Чумаченко, трехэтажный, с балкончиками и лепными фигурами, а вот и мадам Чумаченко гуляет со своими болонками. У нее их четыре: Капа, Фофа, Изумруд и Земфира, и сама она совсем как болонка: вертлявая, с кудряшками, маленькая. В ушах у нее серьги — круглые и большие, как бублики.

— Здравствуйте! — кричит она мне. — Что вы так согнулись? Вам же ж не семьдесят лет!

До меня ей нет ни малейшего дела, а кричит она так игриво и звонко лишь потому, что на той стороне у ворот длинного одноэтажного здания казармы толпятся прыщеватые поручики, ради которых она и совершает здесь свои рейсы с болонками. Поручики кричат ей через дорогу любезности, а она заливчато и лукаво смеется, глядя не на них, а на болонок.

Да, мама у меня очень бесстрашная. Кроме Шестиглазого, она, кажется, никого не боится. Как расправилась она с этим грабителем, который забрался ночью в квартиру мадам Чумаченко! Ведь он мог бы убить ее насмерть!

Это случилось три года назад. Мадам Чумаченко тогда не было дома. Она с мужем уехала в Киев, и ее квартира стояла пустая. Охранять эту пустую квартиру она попросила маму. Мама поселилась там на летние месяцы вместе со мной и Марусей.

Болонки жили с нами, — им требовались особые кушанья, и ради этого нужно было каждое утро ходить на базар. Нужно было ухаживать за всеми цветами, — а цветов у мадам Чумаченко было множество, — поливать их утром и вечером. Нужно было уничтожать целые

батальоны клопов, которые гнездились у мадам Чумаченко повсюду: в диванах, за обоями, в кушетках, даже в зеркалах и картинах. Эта работа отнимала у мамы все дни.

И вот однажды душною лунною ночью маму разбудил собачий лай. В столовой, выходившей на улицу, тявкали все четыре болонки мадам Чумаченко. Мама вбежала туда полуодетая и увидела, что на подоконнике, в самом ярком свету, стоит среди фуксий, олеандров и фикусов какая-то мужская фигура. Мама всмотрелась: замухрышный оборванец лет семнадцати, а может и меньше, растрепанный, весь дрожащий, без шапки, взобрался на второй этаж (должно быть, по водосточной трубе) и завяз в самой гуще растений. Болонки выстроились перед ним полукругом, тоже освещенные луною, и так ретиво защищают владения мадам Чумаченко, что уже охрипли от лая.

Увидев маму, замухрышка схватил с подоконника горшок с каким-то цветком и, выругавшись простуженным голосом, кинул, как бомбу, в болонок. Болонки взвизгнули, завыли, заплакали и на минуту разбежались кто куда. Но тотчас же снова сомкнулись и затявкали с новым азартом.

Мама негромко и спокойно сказала ему:

— Дурень ты, дурень! Кто же ходит воровать при луне! И зачем ты кричишь на всю улицу? Хочешь, чтоб тебя скорее сцапали?

Вор ответил нехорошею руганью и, схватив с подоконника самый крупный горшок, со всего размаху запустил им в маму. Мама легко нагнулась, и горшок попал в пустой аквариий, который стоял у нее за спиной.

Трезвон разбудил меня. Я вбежал в комнату, схватив на всякий случай чугунный подсвечник, которым вчера перед сном разбивал на пороге орехи.

В это время мама говорила грабителю ровным, бесстрастным голосом, словно читала ему какую-то книгу:

— Вот какой ты ледащо[1]: даже красть не умеешь. Пришел бы ко мне как хороший, я дала бы тебе и сала и хлеба.

Тут только сообразил я, что делать, и кинулся черным ходом за дворником. Дворницкая была заперта. Я стучал в нее и кулаками и подсвечником.

Из соседней квартиры на мои стуки выбежал денщик генеральши Ельцовой — человек усатый, трусливый, громадный и глупый. Он побежал за городовым и за сторожем.

---

[1] Ледащо — лентяй, никчемный человек (украинское слово).

2*

Мама встретила этих людей неприветливо:

— Опоздали. Он уже вон-оно где... — и указала в сторону Старо-Портофранковской улицы.

Они убежали, стуча сапогами, и вскоре мы услышали:

— Держи-и!

Такие крики в ту пору слышались почти каждую ночь.

Прошло минут пять. Вдруг мама сказала негромко:

— А теперь вылезай.

И из корзины с бельем, что стояла в прихожей, вылез наш замухрышный грабитель.

Он должен был бы упасть перед мамой на колени и сказать ей растроганным голосом: «Благодарю вас, великодушная дама, за то, что вы спасли мою жизнь». Но он только сплюнул, поправил прическу и снова отвратительно выругался.

Мама посмотрела на него с жалостью, как на калеку, и поспешила в столовую, к поломанным, измятым цветам, которые лежали среди черепков на полу.

Вор тупо глядел на нее, следя за ее быстрой работой.

— Как же тебя зовут? — спросила мама, после того как начисто вытерла испачканный пол.

Вор помолчал и угрюмо ответил:

— Циндилиндер.

Мама нисколько не удивилась такому странному имени.

— Ну, Циндилиндер, там у меня от обеда вареники.

Вор накинулся на мамину еду с жадностью изголодавшегося мальчика. После этого в нашей семье долго еще держалась поговорка, обращенная к тем, кто глотал не жуя:

— Что это ты ешь, как Циндилиндер?

Насытившись, он хотел поскорее уйти, но мама оставила его ночевать тут же в коридоре, на корзине, потому что боялась, как бы не схватили его в подворотне.

Утром Циндилиндер ушел, и мы долго не видали его.

Месяца через три — уже у себя на квартире — я заболел скарлатиной. Скарлатина была тяжелая. Доктор Копп приходил каждый день и за каждые три визита получал два рубля — грандиозные деньги! А сколько ушло на лекарства да на два консилиума!

К зиме мы совсем обнищали. И мамина брошка из слоновой кости, и золоченая браслетка с бонбончиками, и самовар, и медные кастрюли, и даже черненькие Марусины часики (Маруся — моя старшая сест-



Подмышкой у Циндилиндера был турецкий кофейник причудливой формы.

ра) — все уплыло в ломбард. Взамен мы получили зелено-лиловые квитанции, красивые, приятно хрустящие, с какими-то гербами и узорами. Восемь великолепных квитанций, которые я, выздоравливая, перебирал у себя на кровати и рассматривал целыми часами.

И вот, когда мама стояла однажды в ломбарде у стойки, держа в руках последнюю шкатулку, она в очереди увидела вдруг Циндилиндера. Циндилиндер засмеялся:

— Гы-гы, — и хитро подмигнул ей глазом.

Подмышкой у него был востроносый турецкий кофейник причудливой формы, должно быть похищенный летом у зазевавшихся дачников.

— Уй, какая же вы стали сухая тараня! — сказал он ей с любезной улыбкой, будто говорил комплимент. — На вас прямо-таки гадко смотреть!

Тарань — это такая сушеная рыба.

По маминому исхудалому лицу и по той ничтожной шкатулке, которую она принесла заложить, он увидел, что с нею беда. Мама рассказала ему о моей скарлатине. Он проводил маму до самых ворот, а вечером явился к нам, как давнишний приятель, и, ни слова не говоря, щедрым жестом положил перед мамой перевязанную веревочкой аккуратную пачку рублевок.

— Спрячь сейчас, — сказала мама, — или я позову Симоненко.

Симоненко был седой околодочный, который жил в нашем доме и каждый вечер уныло учился играть на трубе. И сейчас его труба издавала отрывистые, монотонные, безнадежные звуки.

Циндилиндер засмеялся:

— Не позовете. Я знаю.

Мама разгневалась и выгнала Циндилиндера вон.

Вскоре он явился опять, и как-то само собою вышло, что он сделался у нас в семье своим человеком.

«Мамин вор» — звала его Маруся.

Придет в потемках кошачьей походкой, и под его бесшумною ногою не звякнет даже тот железный заржавленный лист, который прикрывает нашу помойную яму. Яма вырыта неподалеку от наших окон. Всякий, кто идет к нам с улицы, непременно наступает на этот лист, лист ударяется в чугунную решетку, на которой он неплотно лежит, и тогда раздается бряцание, заменяющее нам звон колокольчика.

Один только Циндилиндер умудряется так ловко наступить на этот лист, что не слышится ни малейшего звука.

Ни с кем не здороваясь, он проходит на кухню, берет с табуретки ведро и идет за водой — наливать нашу опустелую бочку.

Так как мама вечно возится со стиркой, с лоханкой, воды ей требуется всегда очень много, а крана во дворе у нас нет. И мама, и Маруся, и я должны добывать воду на соседнем дворе, чтобы налить доверху ненасытную бочку, высасывающую все наши силы. Принесешь два ведра, и в глазах зеленеет, и ноги и руки дрожат, а нужно нести третье, четвертое, иначе придется итти за водою маме, а от этого мы хотим избавить ее — и я и Маруся.

И вот теперь Циндилиндер сделался главным наполнителем бочки.

Оказалось, он совсем не такое «ледащо», каким мама сочла его в первое время.

Быстрою рысью бегает он к далекому «кранту» с нашим зеленым ведром, не делая ни одной передышки, и лишь тогда останавливается, когда не только бочка наполнена доверху, но и маленькая кадка в прихожей, и жестянка для кипячения белья (которая стоит на плите), и черное ведро, и даже лейка для поливания цветов.

Вообще он как-то сразу вошел во все хозяйственные интересы нашей семьи, и, когда по воскресным дням мама посылает его со мной на базар за селедками, помидорами, баклажанами, грушами, «пшонками», он так бешено торгуется из-за каждой копейки, что мне становится совестно, и я краснею перед базарными торговками...

Задумавшись о Циндилиндере, о своем горе, о маме, я не заметил, как дошел до нашего двора, как наступил на гулкое железо, прикрывающее нашу помойную яму (обычно я старался обрушиться на него всей своей тяжестью, чтобы оно прогремело погромче), и, сгорбленный, готовый заплакать, поднялся по трем деревянным ступеням и вошел в нашу единственную комнату, которую мама называла «гостиной».

Глава четвертая

МАМА. — ДЯДЯ ФОМА

Мама стояла у гладильной доски, набирала в рот воды из медной кружки, так что щеки у нее надувались, а потом делала губами:

— Пфр! Пфр! Пфр!

И изо рта у нее вылетали мельчайшие брызги на белую крахмальную сорочку, распростертую перед ней на доске. Потом она быстро

хватала с опрокинутой самоварной конфорки черный тяжелый утюг, и утюг как-то особенно весело начинал танцовать по сорочке, словно ему было приятно, что им управляют такие умелые руки.

Мама моя была чернобровая, осанистая, высокая женщина. Лицо ее, красивое и правильное, кое-где было тронуто оспой, потому что родилась она в крестьянской семье, где натуральная оспа была обычной болезнью.

Я никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь называл мою маму прачкой, и очень удивился бы, если б услышал. Между тем в ту зиму она не разгибая спины стирала чужое белье, и деньги, получаемые ею за стирку, были, кажется, ее единственным заработком.

Держала она себя гордо, с достоинством. Ни с кем из соседей не водила знакомства. По праздникам, уходя со двора, надевала перчатки и стеклярусную черную шляпку, а узлы с бельем приносила ей на дом Маланка, дочка соседнего дворника, тоже чуть-чуть рябоватая. Маланка же и вывешивала белье на «горище» (так назывался чердак), а порой во дворе, перед нашим окном, протянув веревку между сараем и двумя-тремя вербами, которые росли неподалеку. Маланка называла маму «барыней». А торговки, которые приносили к нашему крылечку груши, яблоки, кабачки, огурцы, называли ее «мадам».

Стирала она только по ночам, тайно ото всех (и в этом опять-таки был виноват наш проклятый секрет), а днями стояла у гладильной доски с утюгом. Я даже и представить себе не могу нашу комнату без этой гладильной доски. Комната была небольшая, но очень нарядная, в ней было много занавесок, цветов, полотенцев, расшитых узорами, и все это сверкало чистотою, так как чистоту моя мама любила до страсти и отдавала ей всю свою украинскую душу.

Три некрашеные ветхие ступени, ведущие к нашей двери, она каждую субботу «шарувала» мочалкой с мылом, а однажды при луне я видал из окна, как моет она во дворе гладкие широкие плиты, которыми была выложена площадка перед нашим крыльцом. А самовар! А подсвечники! А медная ступка! Мама чистила их даже тогда, когда они были совсем еще чистые.

В ночь спала она два-три часа и охотно отказывалась от этого краткого отдыха, если ей вдруг приходило в голову вымыть окна на пыльном «горище» или выбелить известкою погреб, выкопанный под нашей квартирой.

С каким презрением говорила она про мадам Чумаченко:

— Серьги золотые, а шея немытая!

Она, кажется, перестала бы себя уважать, если бы однажды у нее под диваном оказалась пыль или за шкафом паутинка.

А уважала она себя чрезвычайно, никогда никому не кланялась, никого ни о чем не просила. И походка у нее была величавая.

Говорила она по-южному, певуче и мягко, наполовину по-украински, наполовину по-русски. Маруся часто поправляла ее:

— Так не говорят!

Но мне почему-то нравилось, когда вместо «шея» она говорила «шыя», вместо «умойся» — «умыйся», вместо «грязный» — «замурзанный», вместо «воробей» — «горобец».

— Ах, мама, ты опять сказала «цыбуля». Надо говорить не цыбуля, а лук! — поучала ее Маруся, и мама так стеснялась своей прекрасной украинской речи, что при посторонних предпочитала молчать.

Ночью, когда она мыла «горище» или белила кухню короткой мочальной кистью, она сама для себя, в такт работе, напевала вполголоса грудным баритоном: «Ой, за гаем, гаем», «Ой, під вишнею, під черешней», и я очень любил слушать сквозь сон эти чудесные песни, доносившиеся ко мне издалека. Но в другое время она не пела почти никогда. И умолкала на полуслове, едва замечала, что ее слушает хоть один человек.

Была она очень смешлива и, когда мы читали ей Гоголя, хохотала так, что было странно смотреть. Но я никогда не видал, чтобы она смеялась на людях или хоть раз улыбнулась бы, проходя мимо соседей по двору. Вообще с людьми она была очень сурова, ни к кому не ходила ни на именины, ни просто в гости.

Мне было лет семь или восемь, когда я впервые почуял, что эта суровость у нее неспроста. Тут тоже виноват наш секрет. Вообще, если бы не этот проклятый секрет, мама не горбилась бы по ночам над лоханкой и не дрожала бы крупной дрожью при одной только мысли, что ей когда-нибудь придется предстать перед лицом Шестиглазого.

Из-за этого секрета она хваталась за грудь всякий раз, когда мимо проходил почтальон (почтальон в нашем дворе появлялся не часто: раза три или четыре в году).

Из-за этого секрета все соседи смотрели на маму, как на какую-то опасную женщину, от которой нужно держаться подальше. Из-за этого секрета однажды, когда к маме пришел какой-то «Щупак из Варшавы» и тихо сказал ей какое-то слово, она прожгла утюгом наволочку мадам Чумаченко (потому что как раз в это время стояла у

гладильной доски), а когда «Щупак из Варшавы» ушел, села на пол и стала раскачиваться и все хотела выговорить какое-то слово, но губы у нее закоченели, как на сильном морозе, и у нее выходило только одно: «Вить, вить, вить, вить...»

Впрочем, это было давно. «Щупак из Варшавы» исчез и больше никогда не появлялся.

А сегодня мама так весела, словно никакого секрета и нет в нашей жизни. Глядит на меня задорно и молодо, еле сдерживается, чтобы не рассказать мне о каком-то веселом событии.

— Где же это ты пропадал? — говорит она мне без упрека.

Еще на улице, по дороге домой, я решил сразу же объявить ей всю правду. Я даже составил готовую фразу, которую нужно сказать ей, чуть только я взойду на порог: «Мама, не пугайся, пожалуйста... Все будет отлично... Даю тебе честное слово. Шестиглазый выгнал меня из гимназии».

Но не могу же я навалить на нее такое тяжелое горе как раз теперь, когда она так весела.

Лучше я скажу ей потом... вечером... или завтра за чаем. Завтра, завтра, в половине восьмого... А сегодня незачем беспокоить ее.

Почему-то эта отсрочка страшно обрадовала меня — такой уж был у меня легкий характер. Я сразу повеселел и как ни в чем не бывало стал допрашивать маму, что такое случилось сегодня и отчего с дивана снят полосатый чехол.

Мама не ответила, но засмеялась негромко и указала подбородком в прихожую. Я бросился туда и сейчас же увидел висящий на гвоздике кнут. Как это я прежде не заметил его! Я с восторгом схватил этот кнут (помню и сейчас чуть кривое его кнутовище, гладко отполированное ладонью владельца) и закричал вне себя:

— Дядя Фома приехал! Приехал дядя Фома!

От моих горестей почти ничего не осталось. Все вокруг меня сделалось прекрасным и сказочным. Я бегу на кухню и щелкаю, щелкаю великолепным кнутом, но дя́ди Фомы там нет. Я заглядываю в погреб, в сарай. Я ищу его под кроватью, за бочками, и мне кажется, что чуть я найду его, горе мое испарится совсем. И я опять бегу к маме и спрашиваю: «Где же дядя Фома?», но мама только смеется загадочно и говорит, что он уехал к какому-то Фурнику, — ждал меня, ждал и уехал один далеко, на Пересыпь, к Фурнику, и неизвестно, вернется ли. Но я чую милый его запах: дегтя, ме́да, деревенского хлеба и еще чего-то уютного, поэтичного.

— Он здесь! — кричу я. — Он здесь!

И правда, он здесь, в двух шагах. Я распахиваю дверцы кладовой: вот он стоит, не дыша, притаившись, — чернобровый красавец, в белой холщевой рубахе — и смотрит на меня без малейшей улыбки. А мама смеется до слез, — она любит такие сюрпризы. И я тотчас начинаю кричать:

— Пу́канцы! Пу́канцы!

Потому что всякий раз, когда приезжает дядя Фома, он привозит с собой кукурузные зерна в мешочке из белой холстины, и не простые зерна, а диковинные. Они кажутся нам заколдованными. Помочи их в воде, брось в духовку, и они начинают стрелять (только и слышно: пых! пых!) и прыгают так, как живые; и чуть они прыгнут, скорее хватай их, чтобы они не сгорели, и смотри: из желтых они сделались белыми и распустились, как чудесные цветы. Я готов стоять у раскаленной духовки весь день и бросать туда все новые и новые зерна и набивать пу́канцами живот доотвалу.

И мне даже самому удивительно: как это я, переживая такое тяжелое горе, могу в то же время легкомысленно радоваться каждому выстрелу кукурузного пу́канца.

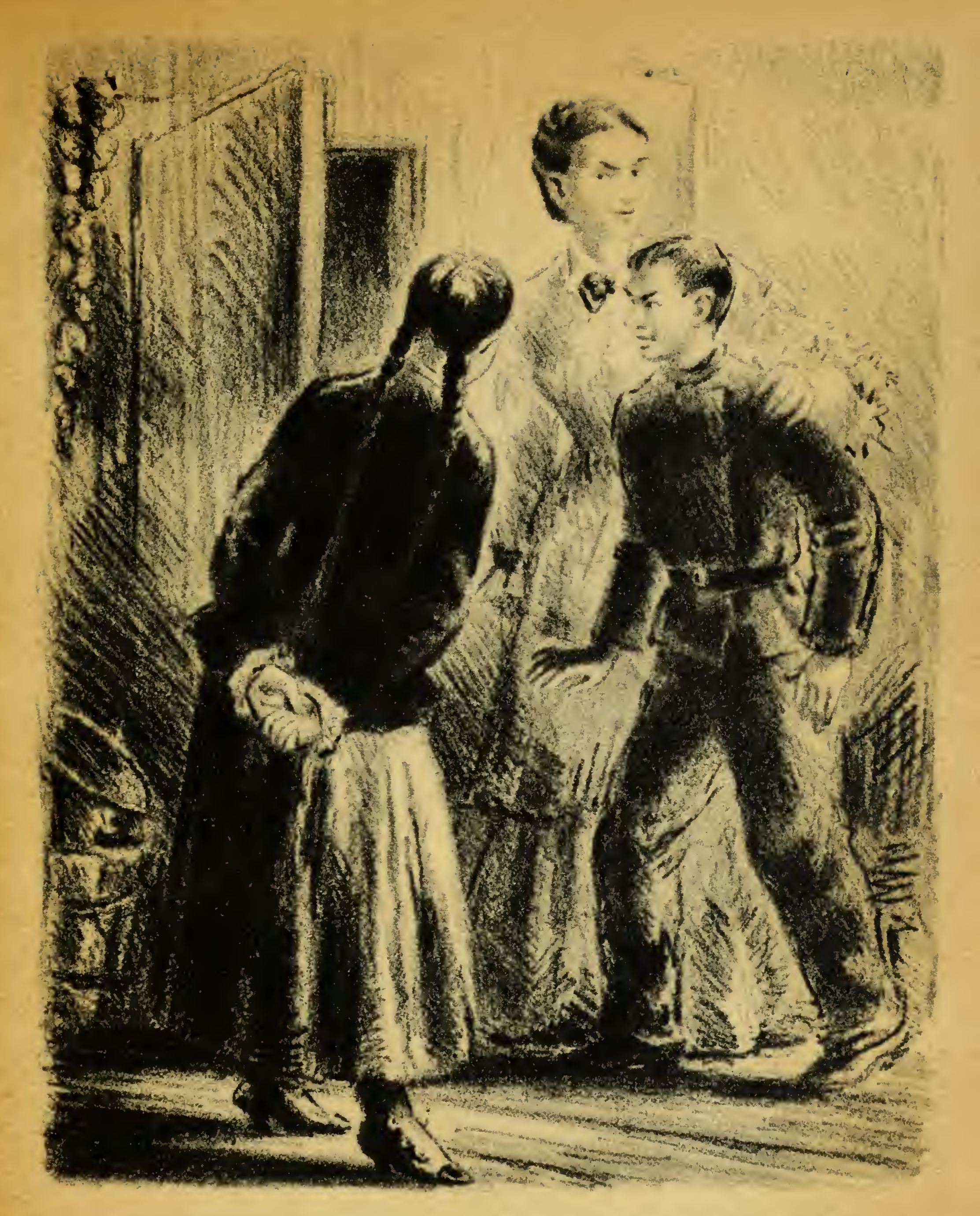
Впрочем, горе ушло от меня не совсем, я чувствую его даже тогда, когда выбегаю во двор в барашковой дядиной шапке и прыгаю, как дикарь, на помойке и щелкаю звонким кнутом, а мальчишки глядят на меня и завидуют.

— У меня есть ежик! — кричу я мальчишкам. — Мне привез его дядя Фома!

И те, изнывая от зависти, бегут за мною по лестнице в погреб и смотрят на ежика с таким восхищением, будто он слон или тигр.

В первую минуту, едва я получил ежика от дяди Фомы, я обрадовался ему, как родному, я угощал его бураками, капустой и даже кусочками брынзы, которую дала мне к обеду Маруся, я хвастался им перед всеми мальчишками. Но вот мальчишки ушли, я остался один вместе с ежиком в погребе, и глаза мои набухли слезами. Если бы он знал, этот ежик, какая беда отодвинута мною на завтра и что ждет меня через несколько дней, он сразу подружился бы со мной, он прижался бы ко мне всеми своими колючками и замурлыкал бы, как ласковый кот. Но он даже не глядит на меня. Он свернулся в комок и невежливо фыркает, и я даже не могу разобрать, где у него ноги и где голова.

Это кажется мне очень обидным. Я сердито швыряю в него остатки капусты и бегу по лестнице к дяде Фоме. Пусть расскажет мне



— Он здесь! — кричу я. — Он здесь! — и распахиваю двери кладовой.

сказку про хитрого шевчика! Я знаю ее наизусть, но люблю слушать ее еще и еще:

Сыдыть шевчик на стильци,
На кумови постильци
Накладае латы.
А тут двери в синцях скрып,
А там дали в хату рып,
Шелеп кум у хату.

Но дядя Фома занят труднейшим и серьезнейшим делом: он сидит в «гостиной» рядом с мамой и, мрачно нахмурив свои черные брови, чинно и чопорно пьет из стакана чай.

Удивительные у него сложились отношения с мамой. Он ее единственный брат, она любит его всей душой, а он боится ее, как огня, и чувствует себя рядом с ней словно скованный. Она говорит ему «ты», он ей — «вы». Она ему — Фома, он ей — Катерина Осиповна. Он совестится перед нею всех своих деревенских привычек; она, прачка, кажется ему важною барынею, а ее убогая квартира — хоромами. Ни на секунду не забывает он, что он в городе, где надо говорить по-городскому и ходить иначе, чем в деревне. Пить чай из стакана — для него пытка; вилка, положенная возле тарелки с колбасой и таранью, до такой степени пугает его, что он и не берется за еду.

Я тоже ни на секунду не забываю, что он — деревенский. В деревне я не был ни разу, и потому «человек из деревни» для меня все равно, что краснокожий индеец или пират, или капитан корабля. Я ложусь на гладильную доску и жду. Я знаю, что когда чаепитие кончится, дядя Фома схватит свою деревенскую шапку и побежит в сарай к своей деревенской коняге, — и мне надо будет бежать вслед за ним: там, в сарае, начнутся чудеса и забавы, откуда-то вынырнет шкалик — и дядя Фома вдруг окажется говорливым весельчаком, остроумцем, и все биндюжники вокруг него будут хохотать, «как скаженые», над каждым его словом, потому что, насколько я теперь понимаю, у него был талант юмориста.

Всякого человека умел он изобразить в смешном виде: и нашего домохозяина Спиридона Макри, и кабатчика Исаака Мордухая, державшего трактир за углом, и мадам Чумаченко, и меня, и Марусю, и Маланку, и даже свою жену Ганну Дмитриевну — как она боится грозы и, увидев молнию, крестится и лезет в сундук.

Выпучит глаза, надует щеки, как-то странно уменьшится в росте, сунет себе в рот большой палец — и вот уж он другой человек: весь

до последнего волоска превратился в седого усача Симоненка, который учится играть на трубе.

— А теперь Абрашку! Абрашку!

— Мотю! Мотю!

Мотя была кухарка биндюжников, великанша с мужскими усами, вечно ругавшаяся рокочущим басом. Дядя Фома не то что передразнивал ее, а прямо-таки превращался в нее: вот она стоит у плиты, воровски озираясь, и, вытащив из большого котла огненно-горячий кусок сала, прячет его на своей необъятной груди. И хотя в руках у дяди Фомы — ничего, но видишь это мягкое, разваренное, горячее сало, от которого идет белый пар, как оно обжигает ей руки, как она швыряет его снова в котел.

Зрители расслабли от смеха. Уже не хохочут, а стонут. Их набирается все больше. Слышатся восторженные отзывы:

— Ну ж и холера, волдырей ему в голову!

Но если в дверях позади показывалась хоть на мгновение мама, дядя Фома умолкал и даже закрывал себе шапкой лицо, а потом уходил в глубь сарая и начинал неуклюже возиться с каким-нибудь колесом или шкворнем. Это всегда удивляло меня, так как мама была очень смешлива и, казалось, рада была бы похохотать вместе с ним.

Но дядя Фома робеет перед ней до безъязычия. Чинно и чопорно сидит он сейчас на диване и обжигает себе рот горячим чаем, не смея прикоснуться ни к колбасе, ни к тарани, и молчит целый час, как немой. Мама заговаривает с ним на всевозможные темы, но он только «да» или «нет».

Впрочем, я не знаю, чем кончился их разговор, так как я глубоко заснул тут же, на гладильной доске.

Глава пятая

СНОВА В ГИМНАЗИИ!

На другое утро я проснулся чуть свет и хотел тотчас же броситься к маме, чтобы сказать ей ту фразу, которую приготовил вчера: «Мама, не пугайся, пожалуйста. Все будет отлично, даю тебе честное слово. Шестиглазый выгнал меня из гимназии».

Но тут мне пришла в голову одна веселая мысль: взять ранец и пойти в гимназию как ни в чем не бывало. Проберусь туда тихонько, раньше всех. Сяду за свою парту и буду сидеть притаясь. Может

быть, Шестиглазый не увидит меня: он ведь такой близорукий. А если и увидит, — кто знает? — может быть, ему станет жалко меня, он махнет своей маленькой ручкой и скажет: «Ладно, оставайся, но помни...»

А может быть, он забыл о вчерашнем, мало ли у него дел и хлопот! Пригрозил сгоряча, а потом и забыл. Забыл, забыл! Он ведь и сам говорит, что из-за нас у него «мозги набекрень». Где же ему помнить о таких пустяках!

Мне так хочется верить в это, что через две-три минуты я начинаю воображать, будто и в самом деле никакой особенной беды не случилось, торопливо хватаю шинель и фуражку и выбегаю в безлюдную улицу, пристегивая ранец на бегу.

В окне у часовщика на Канатной без четверти семь. Пахнет пылью и весенним дождем. В гимназии еще нет никого. Приду до начала уроков и сяду тихонько повторять географию. Хорошо бы получить по географии пять. И по истории тоже. Вот даю себе честное слово — здесь, на перекрестке Канатной и Рыбной, — что с нынешнего дня, если только я останусь в гимназии, я буду учиться, как чорт, и сделаюсь по всем предметам первым, даже лучше Адриана Сандагурского, первейшего ученика во всей гимназии.

Справа, в переулке за Андреевской церковью, вся в утренних светловишневых лучах, видна белоснежная, окруженная садом женская гимназия Кроль. Там учатся Лёка Курындина и ее подруга Вадзинская. Я вглядываюсь в глубину переулка, исчерченного длинными тенями деревьев. И мне страшно хочется, чтобы там появилась Курындина. Мне даже кажется, я вижу ее. Вот она идет под деревьями, а солнечные блики и тени полосами пробегают по ней. Нет, это не она. Я ошибся.

Я влюблен в нее еще с прошлого года. Стоит мне завидеть ее издалека, и сердце мое холодеет, как мятная лепешка во рту. Мне становится так трудно итти, словно я иду по канату, протянутому высоко над домами.

Нас, гимназистов, в гимназию Кроль не пускают. Нам даже запрещено останавливаться возле гимназии Кроль. И все же мы трое — Муня, Тимоша Макаров и я — в течение этой зимы умудрялись выручать гимназисток, когда на каком-нибудь уроке им приходилось особенно туго.

Мы придумали верный способ оказывать им дружескую помощь.

Не беда, что гимназистки сидят запертые в стенах своих классов, за две улицы от нашей гимназии. Все же мы наладили с ними

крепкую почтовую связь, которой могла бы позавидовать и настоящая почта.

В качестве почтальонов работали у нас учителя: Иван Митрофаныч и поп, причем они даже не подозревали об этом, потому что почтовыми ящиками, как ни странно сказать, служили нам их же калоши — мелкие калоши Ивана Митрофаныча и глубокие калоши попа.

И тот и другой преподавали не только у нас, но и в гимназии Кроль. Каждый день и тот и другой путешествовали в строго определенное время из женской гимназии в мужскую и потом, через час, через два, снова шагали в женскую.

Раздевались они в общей шинельной у сторожа Филиппа Моисеича, там же оставляли калоши. И уходили в учительскую.

Едва только они уходили, мы вбегали в шинельную и, озираясь как воры, совали руки в самую глубину их калош.

Достав оттуда записочку, мы в течение ближайшего часа писали гимназисткам ответ и клали наше послание в ту же калошу.

Ничего не подозревавший учитель, хлюпая по грязи калошами, нес это послание в гимназию Кроль, где его нетерпеливо поджидали кудлатая Симочка Глазер или Лёка Курындина вместе со своей подругой Вадзинской.

Но теперь предвесеннее время, улицы обсохли по-южному, и никто уже не ходит в калошах.

Вот и гимназия. Тяжелая дубовая дверь. Никого еще нет. Я вхожу в вестибюль, оставляю на вешалке шинель и фуражку, пробираюсь в класс, сажусь за парту и вынимаю из ранца учебники. «География» Георгия Янчина. Реки Сибири. Отлично! Я раскрываю атлас и начинаю зубрить:

— Лена. Обь. Енисей. Колыма. Ангара. Индигирка.

Не проходит и четверти часа, как все реки Сибири в каком угодно порядке, враздробь и с конца, выучены мною наизусть. Чудесные реки, многоводные, богатые рыбой! И какие звучные у них имена: Хатанга, Индигирка, Анадырь!

Теперь, когда меня каждую минуту могут выгнать из класса на улицу, все здешнее кажется мне замечательным.

Вот пришли полотеры с окаменелыми лицами и танцуя натирают мастикою пол коридора. До сих пор мне не слишком-то нравился запах полотерной мастики. А сегодня я с удовольствием вдыхаю его, потому что это — запах гимназии.

Вот поплелся в учительскую, расчесывая старым, поломанным гребнем обвислые свои бакенбарды, учитель рисования Галикин (кличка — Барбос), он же надзиратель старших классов. Это кляузник и соглядатай, ненавистный нам всем. Если ты вышел на улицу после семи часов вечера, если ранец у тебя не пристегнут на оба крючка, если ты, обходя лужу, зазевался и не снял фуражки перед каким-нибудь отставным подполковником, Барбос запишет тебя в зеленую книжечку, и завтра же тебя посадят в карцер на два или три часа.

Он совершенно похож на дворнягу и даже кашляет, как простуженный пес.

Но нынче мне мил и он, то есть не то чтобы мил, а жалок. Говорят: у него какая-то болезнь — колит. Жидкие его бакенбарды сегодня свисают как-то особенно грустно. Бедный старый, облезлый Барбос! Легко ли ему злиться с утра до вечера, подглядывать, ябедничать!

А вот учитель истории Иван Митрофаныч Карпенко, которого мы зовем Финти-Монти.

Сегодня он мне тоже особенно мил, и я рад, что вижу его крупную, стриженую, упрямую, лобастую голову. Рядом с ним наш географ Волков, благодушный чудак, для которого я и вызубрил нынче Хатангу, Ангару, Индигирку, Лену, Обь, Колыму, Енисей.

Финти-Монти — человек не без странностей, но все же мы любим его и охотно прощаем ему все его грехи и чудачества.

Грехов у него, впрочем, немного. Всего только два. И первый его грех вот какой: стоит ему рассердиться, он выпаливает, как пулемет, целую обойму ругательств, без передышки, одно за другим. И всегда в одном и том же порядке:

— Мазепы! Свистуны! Горлопаны! Финти-монти! Рваные пантуфли! Алеуты! Куроцапы! Жуки на заборе!

Все эти дикие слова вылетают из него единым духом. Их порядка он не нарушает никогда. Все мы выучили их наизусть и, если он пропустит хоть одно, говорим ему хором:

— Не так!

И он сейчас же повторяет все ругательства сызнова, на этот раз не пропуская ничего.

Второй его грех такой: если вы не знаете урока, он сиповатым, нежно воркующим голосом подзовет вас к себе, словно хочет приласкать и обрадовать:

— Ближе... Еще... Еще...

Вы подходите вплотную к самой кафедре, и он говорит, улыбаясь приветливо:

— Возьмите, пожалуйста, перышко. Умокните в чернила и поставьте себе в эту клеточку... нет, не сюда, а сюда... единицу.

Поставить себе единицу — это все равно, что ударить себя кулаком. Вы ставите тоненькую, еле заметную.

— Но зачем такую тощую? Жирнее. Не стесняйтесь, пожалуйста.

Отчего он это делает, не знаю. Но к этому чудачеству мы уже успели привыкнуть, и так как единицы у Ивана Митрофаныча редкость, так как он ставит их только в том случае, если вы их заслужили вполне, — эта процедура давно не вызывает обид.

Зато его уроки — для всякого радость. Неужели меня выгонят отсюда и я больше никогда не услышу, как своим сиповатым голосом, медленно и сонно, как будто скучая, изображает перед нами Финти-Монти и самозванцев, и Грозного, и свержение татарского ига, и Владимира Мономаха, и Минина? Все его рассказы такие занятные, будто он был лично знаком и с Петром Первым, и с Суворовым, и с Гришкой Отрепьевым. Даже пучеглазые братья Бабенчиковы слушают его, разинув рот.

А вот и они. До чего краснощеки и счастливы! Идут к своей парте и громко сосут по дороге какую-то шоколадную пасть, утирая коричневую слюну рукавами.

Почему их, губошлепов и лодырей, которые не интересуются ничем, кроме пакостных анекдотов и карт (я уверен, что и сейчас у них в ранцах есть истрепанные игральные карты), почему этих скудоумцев, несмотря ни на что, награждают четверками, переводят из класса в класс и через три года сделают студентами в зеленых мундирах, а я...

Впрочем, что мне жаловаться? Я еще сижу за своей партой, как сидел вчера и неделю назад, и никто меня не гонит, все отлично, и вокруг меня те же товарищи, с которыми я под одним потолком пробыл неразлучно пять лет.

Вот и Зуев. Идет, семеня по-старушечьи ножками, опустив на грудь свою тяжелую голову.

Мне даже запах его издавна знаком: старушечий запах кофея, церковного ладана, уксуса, кошек и каких-то лекарств, вроде валерьяновых капель.

Сейчас, я знаю, начнет он крестить по порядку мелкими и быстрыми крестами свою чернильницу, свои тетради, свою ручку с

пером. А потом посмотрит на висящую в классе икону бородатого и лысого пророка Наума, перекрестится и скажет по-старушечьи:

Святой пророк Наум,
Наставь меня на ум!

Я ведь знаю его наизусть, знаю даже, что нынче с утра, по случаю субботнего дня, еще до начала уроков, он, вместо того чтобы повторять географию Янчина, бегал по церквам и часовням и усердно молился о том, чтобы все учителя, за исключением двух-трех, заболели холерой и умерли.

А вот исплаканный, несчастный Козельский. Сегодня и завтра ему предстоит просидеть в карцере по четыре часа «за подделку отметок и злонамеренное сокрытие своего дневника». Хорошо еще, что отец его уехал в Тирасполь и тем избавил его от кулачной расправы. Отчего же он плачет, чудак? Я был бы рад просидеть в нашем карцере двадцать часов, нет, не двадцать, а двести, — лишь бы Шестиглазый оставил меня на этой скамье.

Вот и Муня Блохин. Запыхался, вспотел, боялся опоздать и бежал всю дорогу. А живет он далеко, на Молдаванке. И, как нарочно, он сегодня дежурный.

— Здравствуй, Муня!

— Пфа!.. Ты здесь?

Он смотрит на меня с удивлением и присаживается на край моей скамьи.

— А я слышал, что тебя... — Он делает жест кулаком, показывающий, как выталкивают человека за дверь.

— Муня, ведь и правда, меня выгнали, — говорю я и хочу улыбнуться, но, чуть только я выражаю мое горе словами, я впервые с необыкновенною силою чувствую всю отчаянность моего положения. Мне становится так жалко себя, что у меня начинает дрожать подбородок. Я слышу, как мои редкие слезы падают на «Географию» Янчина, орошая и без того многоводные реки Сибири: Хатангу, Индигирку, Анадырь. — Меня выгнали... И все же я пришел... потому что...

Он понимающе кивает головой.

— Я пришел и сижу... Как всегда... И думаю: а вдруг не заметят, забудут... Я пришел и сижу, потому что...

Я стараюсь плакать беззвучно. И плачу до икоты, до бульканья в горле.

Он с сомнением чмокает губами.

— Ты думаешь, не заметят? Ой-ой!.. А впрочем, откуда мы знаем? Посмотрим. И... садись-ка ты лучше сюда. Ты — на мое место, а я — на твое. Раздвину локти, и вот тебе ширма.

Это очень ничтожная помощь, но никакой другой оказать он не в силах. Я хватаюсь и за эту соломинку.

К счастью, мною никто не интересуется, хотя теперь без трех минут половина десятого, когда надзор особенно силен. В это время по коридору всегда проносится, как летучая мышь, Шестиглазый, заглядывая по порядку в каждый класс, и в каждом говорит одно и то же:

— Прекратите — немедля — этот — безобразный — галдеж.

И проходит на цыпочках дальше какой-то чрезвычайно затейливой и хлопотливой походкой.

Тут же расхаживает между классами наш красноносый инспектор Прохор Евгеньевич (фамилии не помню). Он сует голову в каждую дверь и говорит свое обычное:

— Пш!..

Прозвонил звонок, и в комнату впорхнул мсье Лян, учитель французского, вытирая свой крохотный лобик концами темнолилового шарфа. Мсье Лян мне нисколько не страшен. Хоть он приехал в Россию давно, но все еще не понимает по-русски.

Мсье Лян кажется человеком, упавшим с луны: не знает в лицо ни одного гимназиста, никогда не соображает, в каком он находится классе, и в течение нескольких лет не научил нас ни единому французскому слову. Впрочем, нет: одно французское слово мы все знаем твердо. А именно: что Лян (l'âne) — это осел.

Меня и теперь удивляет, почему у него такая фамилия. Осел ли он, я сказать не могу, потому что ни разу не разговаривал с ним. В классе есть семь или восемь счастливцев, которые чуть не с пелёнок знают французский язык. С теми он болтает самым дружеским образом и часто во время разговора смеется, всякий раз поднимая палец перед тем, как сострить. На остальных он не обращает внимания. Кажется, если бы вместо меня посадили на мою парту Циндилиндера или Хацкеля Кура, — и тогда мсье Лян ничего не заметил бы.

Но все же в нем есть что-то милое. Нынче я вижу это особенно ясно. Даже его достопримечательный шарф не вызывает во мне обычной насмешки. В сущности, чем же он плох, этот шарф? Мсье Лян не только обматывает им свою тощую, зябкую шею, но и чистит им туфли и стирает им мел с доски. В него же он часто и гулко сморкается.

«Если я останусь в гимназии, я в два-три месяца непреме́нно

выучу французский язык», говорю я себе, глядя не без зависти, как бойко разговаривают с Ляном Сандагурский, Сабуров и другие «аристократы» нашего класса. «А шарф можно выстирать, и он опять будет чистый».

Но вот загремел звонок. Все выбежали в коридор — на перемену. Я же продолжаю сидеть, притаясь. Так как дежурный — Муня, никто не тревожит меня.

Муня открывает в классе форточку и бежит в канцелярию за бутылкой чернил, но сейчас же возвращается взволнованный:

— Идут! Шестиглазый и Прошка!

Я бегаю в испуге по классу. Где спрятаться? За печкой? Под кафедрой?

Но пугаться было нечего. Шестиглазый и Прошка проходят мимо и направляются в соседний класс — в шестой.

Как мы узнали потом, в этом классе произошло небольшое событие.

В ящик для мела, под классной доской, кто-то с самого утра сунул кошку. И когда Василий Афанасьевич, тамошний учитель математики, желая записать какую-то задачу, подбежал порывисто к доске и, не глядя, привычным движением выдвинул ящик, чтобы взять свежеотточенный мел, оттуда выскочила бешеная кошка и так испугала его, что он закричал, будто его пырнули ножом, и смешно отскочил от доски. Класс загоготал. Кошка ощерилась, фыркнула и с длинным, пронзительным плачем, будто проклиная кого-то, стала летать, как на крыльях, между запертой дверью и кафедрой. Это вызвало новые приступы хохота.

Разъяренный Василий Афанасьевич выскочил из класса, как из пламени, и помчался к директору жаловаться.

И вот теперь Шестиглазый и Прошка нагрянули на место преступления вместе с Василием Афанасьевичем, Барбосом и Пыжиковым (надзиратель младших классов, помещавшихся на нижнем этаже) и чинят там суд и расправу.

Значит, я могу ничего не бояться по крайней мере полчаса или час.

Следующий урок — геометрия — тоже миновал благополучно.

И так как в шестом классе все еще не кончилось «дело о кошке» (нет сомнения, что Шестиглазый произносит там вдохновенную речь), я пользуюсь этим во-всю: выбегаю во время второй перемены из класса и мчусь, как паровоз, по всему коридору — от стены, где висят

часы, до стены, где висят иконы (стена огорожена деревянной решеткой, и за этой изгородью Шестиглазый устроил небольшую молельню, как бы специально для Зуева, который, даже пробегая в уборную, останавливается здесь прокреститься).

Я неудержимо ношусь взад-вперед, скользя, как по льду, по вощеному полу. И заглядываю вместе со всеми в стеклянные двери шестого класса: гимназисты все еще стоят, как солдаты, навытяжку, а Бу́рмейстер попрежнему пилит их деревянной пилой своего красноречия.

Звонок. Пробегая на парту, я издали вижу обрадованные глаза моего друга Тимоши. Должно быть, он все время тревожился, не зная, куда я пропал. Я усаживаюсь поскорее на место и открываю учебник по русской истории. Царствование Екатерины Второй. Параграф восьмой и девятый. Сейчас войдет сюда Иван Митрофаныч, и я опять услышу его милую, необидную ругань:

— Мазепы! Свистуны! Горлопаны! Финти-монти! Рваные пантуфли! Алеуты! Куроцапы! Жуки на заборе!

Но вошел не Иван Митрофаныч, вошел Шестиглазый, а вслед за ним какой-то высокий, могуче сложенный блондин с широкой, холеной, волнистой бородой.

Шестиглазый надел пенсне сверх своих обычных очков (оттого и звали его Шестиглазым), выступил вперед и сказал:

— Я пришел, чтобы познакомить вас с вашим новым учителем Игорем Львовичем Гудима-Карчевским и сказать вам, что вы должны быть благодарны судьбе за то, что она посылает вам такого наставника. Те исконно русские начала государственной власти...

Дальше пошли непонятные и нудные фразы, но одно стало ясно после первых же слов: Иван Митрофаныч ушел из гимназии и уже никогда не вернется. Теперь этот пышнобородый Гудима-Карчевский будет учить нас по-своему, не так, как учил нас до этого дня Финти-Монти.

Вскоре Шестиглазый исчез. Новый учитель поднял могучие плечи, будто приготовился к бою, и крупным, уверенным шагом пошел по рядам.

— Что вам задано? — воинственно обратился он к Тюнтину.

— Екатерина Вторая, параграф восьмой и девятый.

— Неверно. Стойте столбом... Ну-ка, вы.

— Нам задана Екатерина Великая, параграф восьмой и девятый.

— Неверно. Стойте столбом... Ну-ка, вы.

Кого бы он ни спрашивал, все отвечали ему одинаково, и всех он заставлял «стоять столбами». Таких «столбов» набралось уже больше десятка. С отвращением посмотрел он на них, как смотрят на мокриц или жаб, и наконец проговорил расслабленным, обиженным, страдальческим голосом, очень медленно, отчеканивая каждую букву:

— Не Екатерина, а им-пе-ра-три-ца Екатерина Великая. Екатериной вы можете называть вашу дворничиху... А го-су-да-ры-ня им-пе-ра-три-ца...

Было похоже, что сейчас он заплачет.

— Поэтому всякий из вас, — продолжал он тем же детским, обиженным голосом, который так не шел к его огромному росту, — кто на уроке истории скажет мне о каком-нибудь из самодержавных им-пе-ра-то-ров русских просто Павел, или просто Александр, или Николай, или Иван, получит от меня... (тут лицо его засияло, как солнце) ...е-ди-ни-цу.

Уже прозвонил звонок и началась большая перемена, а он все еще продолжал говорить.

Блохин повернулся ко мне и сказал:

— Это же чорт знает что: из-за такого шпендрика прогнать Финти-Монти!

— А разве Финти-Монти прогнали?

— Пфа! Еще на прошлой неделе. В субботу.

— Откуда ты знаешь?

— Пфа!

Блохин жил на квартире у нашего географа Волкова и знал от него много гимназических тайн.

Наконец Гудима направился к двери. Все с ревом и топотом, смеясь и толкаясь, помчались вслед за ним в коридор.

Выбежал вместе со всеми и я, стараясь по возможности держаться в самой гуще толпы, чтобы меня не заметил ни Прошка, ни Барбос, ни Бурмейстер.

Только бы прошла большая перемена. А потом уж нечего бояться.

Следующий урок после большой перемены — латынь. Мои товарищи терпеть ее не могут. Я же с самого первого класса, не знаю, почему и за что, полюбил этот язык, как родной. Каждое латинское слово кажется мне драгоценностью: оно такое красивое, простое, благородное, гордое, звучное, что я рад повторять его множество раз, как повторяют любимую песню. И я знаю, что если Игнатий Иваныч

Кавун, наш латинский учитель, вызовет меня сегодня к доске, он будет после каждого ответа кивать мне румяной своей головой и приговаривать «бене». («Бене» — по-латыни: хорошо.) Кавуна мне бояться нечего. Кавун всегда и везде за меня.

А потом география. Тоже не страшно. Многоводные реки Сибири: Хатанга, Ангара, Индигирка, Лена, Анадырь, Колыма.

А потом — домой к себе, на Рыбную!.. А дома — дядя Фома! А завтра — воскресенье! А в погребе — еж!

В коридоре толпа гимназистов штурмует покрытый грязноватою скатертью стол, на который навалена груда съестного: колбаса, ветчина, бутерброды. Меня вдруг охватывает дьявольский голод. Вернее: я только теперь замечаю, как сильно я проголодался с утра. Утром ведь я не ел ничего, убежал спозаранку и не захватил с собою ни денег, ни завтрака. Попрошу Пушкина, чтобы продал мне в долг бублик «семитати» или французскую булку.

Пушкин смотрит на меня недоверчиво, но все же после небольших колебаний достает из корзины сморщенную вчерашнюю булку и безрадостно сует ее мне. Ой, какая маленькая! Мне бы таких пять или шесть.

— Пушкин, нельзя ли еще?

Но тут я слышу у себя за спиной:

— Па-звольте! Па-звольте! Па-дождите минутку!

Оглядываюсь: Прошка.

Желтые тараканьи усы. Помятое лицо. В голубых глазенках — удовольствие.

— Что вы здесь делаете, уважаемый сэр?

Я растерянно гляжу на него и почему-то показываю ему французскую булку.

— Вот... Я купил... То есть не то что купил, но... Я завтра отдам... А сегодня...

— Здесь вам не булочная, уважаемый сэр, — говорит он громко, на всю залу. — Или вы не заметили — на дверях у нас вывесочка: «Посторонним вход строго воспрещается».

Гимназисты окружают нас молчаливой толпой. Многие бегут из далеких концов коридора. Их не меньше ста, а откуда-то мчатся еще и еще. Двое или трое — со скрипками; должно быть, у них только что кончилась музыка.

— Здесь вам не булочная, — повторяет Прошка язвительным голосом, глядя не на меня, а на публику. Он потирает руки, он выпятил



Что вы здесь делаете, уважаемый сэр?

грудь. Он похож на актера, который дорвался наконец до любимой выигрышной роли и собирается сыграть ее под аплодисменты всего зала.

— Прохор Евгеньич... — лепечу я бессвязно. — Я ни в чем... ей-богу, я ни в чем... Спросите сами у Козельского... у Зюзи. Зюзя, отчего ты молчишь? Ведь ты знаешь, что я даже не видел твоего дневника. Честное слово, не видел. Все мои товарищи скажут. Вот и Тюнтин... спросите у Тюнтина.

— Нет-с! Извините! Ваши товарищи — вон они!

И Прошка указывает рукою в окно. Там на панели, под мартовским солнцем, у железной решетки монастырского сада сгрудились оборванные бездомные дети, которых в нашем городе называют «босявками».

— Не прикажете ли пригласить этих голопузых сюда? — спрашивает Прошка насмешливым голосом. — «Садитесь, дорогие джентльмены, за парты, мы научим вас алгебре, химии, всем языкам».

Он самодовольно смеется: такой смешной и нелепой кажется ему самая мысль о том, что уличная беднота может обучаться наукам.

— Вон тот кривомордый — видите? — продолжает Прошка, тыча пальцем в стекло, — растянулся на мусорной куче и дрыхнет, а другой сидит на нем верхом и тащит у него из кармана бутылочку. Вытащил — и сейчас же буль-буль-буль... Подходящая компания для такого синьора, как вы. А если все они пойдут в гимназисты, кто же, спрашивается, будет чистить для нас наши помойные ямы?

Тут любимая Прошкина тема. В течение многих лет он не раз и не два повторял нам, что гимназии существуют для избранных, а голытьба пускай остается в невежестве, — иначе кто же сошьет ему, Прошке, штаны?

— Вшивая команда, шантрапа с Молдаванки!

Он долго говорит на эту тему, обильно обдавая меня запахом спирта (сегодня он как будто пьяней, чем всегда), и тут только я замечаю, что справа, у двери в «рыдальню», тихо стоит Шестиглазый и, зажмурившись, кивает головою, словно слушает приятнейшую музыку.

Прошка — его обезьяна: подражает ему во всех своих жестах и произносит такие же цветистые речи. И даже щурится близоруко, совсем как Бурмейстер, хотя зрение у него очень хорошее.

Я слушаю его как в тумане. Прямо против меня стоит лопоухий Тимоша, и в его зеленых глазах — пламенная ненависть к Прохору.

Щеки его дергаются в судороге, губы непрерывно шевелятся. Он силится что-то сказать, но не может, потому что он заика; при малейшем душевном волнении у него отнимается язык, и он только мычит от натуги.

Тут же стоит Мейер, восьмиклассник, и смотрит на меня с унылым сочувствием. Из-за пояса у него торчит неуклюжая книга, которую он взволнованно теребит за края.

— Будьте же любезны удалиться!.. — обращается ко мне Прошка с преувеличенной вежливостью. — И как это он ловко прокрался сюда! — говорит он совсем другим голосом, обращаясь к молодому франтоватому служителю Косте. — «Я, Прохор Евгеньич, за булочкой»!

— Да он тут с утра! — кричит Тюнтин.

— С утра?.. У-гу-гу! Ты, Костя, гляди и помни: чуть увидишь этого синьора — ни в парадный, ни в черный. В прихожую — и то воспрещается... Пожалуйте, молодой человек!

— Прохор Евгеньич! — кричит издали Муня Блохин, протискиваясь к нему сквозь толпу (он всю большую перемену дежурил и может вырваться из класса лишь теперь). — Прохор Евгеньич, вы, должно быть, не знаете... Я сейчас вам скажу...

Прошка глядит на Блохина тем зловещим и многозначительным взглядом, каким обычно глядит Шестиглазый на самых закоренелых «рыдальцев», и, не ответив ни слова, обращается ко мне с той же насмешливой вежливостью:

— Берите, молодой человек, ваши вещи, если они у вас есть, и пожалуйте за мною... Сюда-с!

Он показывает мне дорогу: «направо-с», «налево-с», как будто я здесь никогда не бывал, и ведет меня к выходу, как полицейский своего арестанта: он — впереди, сбоку — Костя.

— Погодите, пожалуйста! — кричит Муня Блохин, затертый толпой первоклассников, хлынувшей из нижних коридоров.

Я иду, опустив глаза. Почему-то мне так стыдно перед идущими вслед за мною товарищами, словно и вправду я пойманный вор.

Наконец Муне удается протискаться к Прохору.

— Прохор Евгеньич, его только на две недели... Только до постановления совета. Я слышал. Мне сказали... Вы, должно быть, не знаете...

— Совет уже заседал вчера вечером. Экстренно. И постановил: исключить. И его и еще двоих.

Услышав эти страшные слова, я не грохнулся на пол, не завопил, не заплакал. Для нового горя во мне уже как будто нет места.

Муня что-то говорит мне, но что — я не понимаю, не слышу. Я как будто онемел и оглох.

Мы начинаем спускаться в шинельную. Здесь я знаю каждую ступеньку, каждое пятно на стене. Какими испуганно круглыми, большими глазами глядят на меня первоклассники, девятилетние мальчики, толпящиеся внизу, в вестибюле! Должно быть, им кажется, что я самый настоящий разбойник, который, если вырвется, наделает бед.

Сгорбленный и несчастный, я спускаюсь по лестнице.

В шинельной я вижу Мелетия. Он стоит перед зеркалом и, прищурив глаза, старательно приглаживает маленькой щеточкой свои жидкие белесые брови. Я кланяюсь ему в зеркало, по старой привычке. Он смотрит на меня, как на забор или дерево.

Прошка звонко кричит Моисеичу:

— Подайте молодому человеку пальто!

Подавать гимназистам пальто — такого обычая у нас не бывало.

Я хочу шагнуть к своей вешалке (знакомая вешалка! номер одиннадцатый, первая слева, — пятый год я вешаю на нее шинель и фуражку), но Прошка удерживает меня за плечо:

— Не трудитесь, пожалуйста. Вам сейчас подадут.

И покуда я сую непривычные руки в рукава своей новой, только что сшитой шинели, Прошка делает ужасную вещь: он берет мою фуражку и с большим удовольствием выламывает из нее гимназический герб. В отчаянии я выбегаю в этой фуражке на улицу, а губы мои сами собой повторяют:

— Хатанга, Ангара, Индигирка, Лена, Анадырь, Колыма...

Глава шестая

БИТВА И ПОБЕДА

Герб у меня на фуражке был такой: два дубовых листочка, между ними две буквы и цифра — название нашей гимназии. Был он сделан из белого металла фраже и потому назывался серебряным. Цена гербу — тридцать копеек, но мама была готова отдать за него несколько лет своей жизни, лишь бы он блестел у меня на фуражке. Мама знала, что тот, у кого на фуражке есть герб, может сделаться важным судьей или доктором, или знаменитым профессором. А тот,

у кого на фуражке нет этих белых дубовых листочков, может во всякое время пойти в босяки и издохнуть в морозную ночь под эстакадой в порту. В лучшем случае из него выйдет биндюжник или маляр, или банщик, или кузнец вроде Хацкеля Кура.

Но мне и кузнецом не бывать, потому что Хацкель Кур — вон какие у него могучие мускулы. Я как раз подошел к его кузнице на углу Канатной и Рыбной и остановился под проржавленной вывеской, на которой намалевана большая подкова и маленькая красная двуногая лошадь. Он гол до пояса и черен, как негр. Тело его лоснится от пота. Одною рукою поднимает он молот, какого я не подниму и двумя, и, будто балуясь, бьет молотом по раскаленной болванке, которую вертит щипцами, как легкую трость. И кажется, что вся его цель — выбить оттуда возможно больше взлетающих красными фонтанами искр. Нет, я слаб и неловок, я не гожусь в кузнецы.

«Хатанга, Ангара, Индигирка», продолжают повторять мои губы. Вот и дом Макри, вот и наша помойная яма, прикрытая железным листом. Страшно воротиться домой без герба! Но — счастье! — мамы нет дома. Мама и дядя Фома ушли на кладбище, на могилу моей тетки Елены, которой я никогда не видал: она умерла от холеры. А кладбище далеко, за вокзалом, за Чумкой. Вернутся они часам к десяти, даже позже. Значит, мама и сегодня не узнает о нашей беде. Я расскажу ей обо всем завтра вечером, когда уедет дядя Фома. Или лучше: послезавтра утром, в понедельник. А послезавтра — это так далеко, впереди еще тридцать семь или тридцать восемь часов. Мало ли что может случиться за эти тридцать восемь часов!

Конечно, я хорошо понимаю: радость моя безумна, и надеяться не на что. Я знаю: тридцать восемь часов — ужасно короткое время, которое пролетит, как минута. И все же мне очень приятно, что в квартире одна лишь Маруся.

Маруся, нахохлившись, сидит на диване. Глаза ее вонзились в пухлую рваную книгу. Книга называется так: «О чем щебетала ласточка». Маруся читает ее чуть не двенадцатый раз.

— Возьми из духовки мамалыгу и рыбу и, пожалуйста, не мешай мне читать, — говорит она, не отрываясь от «Ласточки». Голос у нее сухой и отчетливый, будто она диктует диктовку.

Маруся строгая, всегда занятая, разговаривает со мной свысока. Она считает меня легкомысленным лодырем. Я боюсь ее больше, чем маму. Она — первая ученица в епархиальном училище и уже зарабатывает ежемесячно четыре рубля, так как дает уроки племяннице ма-

дам Чумаченко. Все хвалят Марусю за то, что она такая серьезная, и попрекают меня, зачем я не похож на Марусю. Одна только мама относится ко мне снисходительно и, несмотря на мои грехи и провинности, любит меня нежней, чем ее. Маруся это чувствует, и для нее это большая обида.

Мне очень хочется быть таким же серьезным, как Маруся, но у меня ничего не выходит. Несколько раз она пробовала воспитывать меня на свой лад и в конце концов махнула рукой. Это было года три тому назад. Она сказала мне каким-то неожиданным, мальчишеским голосом:

— Хочешь играть в путешествия?

Я ответил:

— Еще бы!

Потому что я жаждал кораблекрушений и подвигов. Но она взяла пять узеньких листочков бумаги, написала на них старательным почерком: «Азия», «Африка», «Америка», «Европа», «Австралия», и приколола их булавками в разных концах нашего большого двора. Кухня для биндюжников оказалась Америкой, крыльцо усача Симоненко — Европой. Мы взяли длинные палки и пошли из Азии в Америку. Чуть только мы очутились в Америке, Маруся нахмурила лоб и сказала:

— В Америке главные реки такие-то, главные горы такие-то, главные страны такие-то, климат такой-то, растения такие-то.

А потом сказала:

— Повтори.

Я вместо ответа заплакал. Лучше бы она побила меня! Путешествовать — значило для меня мчаться по прериям, умирать от желтой лихорадки, выкапывать древние клады, спасать прекрасных индеянок от кровожадных акул, убивать бумерангами людоедов и тигров, и вдруг вместо этого меня ведут от бумажки к бумажке и заставляют, как в классе, зубрить какие-то десятки названий. Марусе эта игра была по сердцу — полезная игра, поучительная. Я убежал от нее со слезами, чуть только мы дошли до Европы, и спрятался у Лёни Алигераки на весь день. С тех пор Маруся окончательно убедилась, что я легкомысленный лодырь, и говорит со мной, как с жалким ничтожеством.

Когда я кончил обед и вымыл посуду, она позвала меня и негромко сказала:

— На твоем месте я принесла бы воды, потому что обе бочки абсолютно пустые!

Она любит слово «абсолютно» и другие книжные слова, каких кругом никто не говорит: «с точки зрения», «будучи», «отнюдь».

— Есть, — говорю я со смехом и сам удивляюсь: откуда у меня этот смех? Будто и не было со мною несчастья!

Я беру зеленое ведро и, не надевая своей оскверненной фуражки, выбегаю на улицу.

Кран — в доме Петрококино, где волы, биндюги и биндюжники. Биндюги — это особые телеги, длинные и очень тяжелые. В каждую такую телегу впрягается пара волов и рано-рано, еще до рассвета, два-три десятка телег медленно тянутся в гавань — выгружать и нагружать пароходы. Рядом с волами шагают биндюжники, могуче сложенные, загорелые люди, в изодранных линялых рубахах. Весь день под жестоким солнцем они бегают по сходням с семипудовыми мешками коринки, ванили, канифоли, зернового зеленого кофе, красного перца, винных ягод, маслин, миндаля. Запахами этих товаров они пропахли насквозь — запахами Турции, Греции, Малой Азии, Африки. Биндюжники любят меня (хоть и зовут «гандрыбатым») и зачастую насыпают мне полную жменю [1] подсолнухов или сладких рожков.

Сегодня, впрочем, биндюжников нет. По случаю субботы они ушли в баню. Через минуту я уже с полным ведром снова шагаю по Рыбной. Возле дома Магнера я останавливаюсь отдышаться, ставлю ведро на панель, хоть и знаю, что мне угрожает опасность, потому что дом Магнера — особенный дом. В нем живут мои враги. Я никогда не решился бы войти в этот дом, так как твердо уверен, что там выкололи бы мне глаза, вырвали бы язык, отрубили бы уши.

Дом набит озорными мальчишками, которые с самых древних времен ведут с нашим домом войну.

Их предводитель — кузнец Хацкель Кур, и мы всех их называем «хацкелятами».

Когда кто-нибудь из нашего двора проходит мимо хацкелят с ведром воды, они стараются плюнуть в ведро или набросать туда дряни.

Мы, жители дома Макри (они зовут нас «макрюхами»), тоже не даем им проходу и пытаемся напакостить, как только можем. У хозяйского сына Кирьяка Макри есть рогатка, и он поражает из нее хацкелят, которые, проходя мимо нас, показывают нам язык или фигу.

Я страстно ненавижу их всех и не поверил бы, если бы мне сказали в ту пору, что они такие же люди, как мы, жители дома Макри.

---

[1] Жменя — по-украински — горсть.

Особенно я ненавижу Фичаса, мальчишку лет четырнадцати, с длинной и узкой, как огурец, головой. Это сильный и бесстрашный идиот. Вот он притаился за уступом стены в воротах и подстерегает меня, выпятив рыхлое, глупое брюхо.

Я останавливаюсь в пяти шагах и жду, чтобы на улице показались прохожие, которые защитили бы меня от него. Но улица пуста. Я перехожу на другую сторону — туда, где казарма. Из окна казармы глядит на меня офицер, равнодушный, как чугунная тумба. Я бегу что есть силы вперед. Но вода выплескивается из ведра, и нужно замедлить шаги. В руке у Фичаса кизяк — круглый, черный, засохший воловий навоз.

— Опа-пá! — кричит Фичас, как краснокожий индеец, и скачет через улицу ко мне.

Я отбегаю к воротам казармы. Из ведра выплескивается еще больше воды. Я ставлю ведро у стены. Фичас снова кричит «опа-пá» и с разбегу ударяет меня головою в живот. Я отлетаю к стене и с отчаянием вижу, как он дважды плюет в ведро и швыряет туда весь свой кизяк. Слюна у него белая, как лошадиная пена. Я взвизгиваю и хочу вцепиться в его щеки ногтями. Но он опять отбрасывает меня к той же стене и победоносно кричит: «Опа-пá!»

Из окошка равнодушно глядит офицер.

И вдруг — о, радость! — ко мне на помощь приходит могучий союзник; он выскакивает из казармы и налетает на врага, как паровоз.

Это — солдатский козел Филимон, знаменитый на всю улицу забияка и пьяница.

Если люди ведут себя смирно, Филимон никогда не вмешивается в их разговоры, но стоит кому-нибудь затеять хотя бы легкую драку, Филимон из козла превращается в тигра: налетает с разбегу на одного из дерущихся и бьет его сзади под коленки (не рогами, а лбом) с такой бешеной силой и, главное, с такой неожиданностью, что несчастный падает в ту же секунду.

Пьянствует Филимон лишь по праздникам. Заметит, что биндюжники идут мимо казармы в кабак, увяжется за ними, и его не отогнать никакими дубинами. Биндюжники с удовольствием поят его водкой, а иногда мокают в водку хлеб и кормят его этим проспиртованным хлебом, который он глотает с жадностью. Возвращаясь домой, он шатается из стороны в сторону, задевает за столбы, за фонари, как подгулявший биндюжник. И голова у него бессильно свисает к земле, и борода волочится по мостовой, как метла. Мальчишки из соседних

домов дразнят его, тормошат, хватают за рога и толкают, но он не обороняется, он кроток и тих, как ягненок; добредет до казармы и сейчас же завалится спать на конюшне у ног полкового коня Черемиса.

К счастью, сегодня он трезвый, и Фичасу не будет пощады от ударов его крепкого лба. Фичас падает ничком на панель, а он стоит над ним и трясет бородой, как Мелетий, и ехидно смеется:

— Ммме!

Фичас пытается встать, но Филимон опять бодает его под коленки, и он опять растягивается во всю длину на панели.

Я счастлив. Я прыгаю вокруг, как дикарь, а потом хватаю ведро и, закричав «опа-па́» (это наш воинственный клич), с восторгом выливаю всю грязную воду на голову лежащего передо мною Фичаса.

Фичас фыркает, дрыгает ногами, захлебывается, потом поворачивает ко мне мокрое, красное, отчаянно злое лицо и, трусливо глядя на своего победителя, пытается встать в третий раз. Но я нахлобучиваю пустое ведро на его дурацкую длинную голову и барабаню что есть силы по ведру кулаком:

— Опа-па́! Опа-па́! Опа-па́!

Фичас начинает реветь на всю улицу.

— Что ты делаешь, байструк? Оставь ребенка! — кричит мне из окна его мать.

Я еле удерживаюсь, чтобы не показать ей язык, хватаю ведро и бегу.

Победа наполняет меня торжеством. Стыдно сказать, но когда в ту ночь я засыпаю на складной моей койке, так и не дождавшись возвращения мамы, я думаю не об ужасном несчастье, случившемся сегодня со мною, а только о победе над Фичасом. И о том, как я буду хвастать этой великой победой перед всеми мальчишками нашего дома. И о том, что сделать, чтобы завтра, в воскресенье, нам, макрюхам, разгромить в открытом бою хацкелят и взять в плен их предводителя Хацкеля Кура.

Это давняя наша мечта — отомстить ненавистному Хацкелю Куру за все его обиды и злодейства. Странное дело: Хацкеля Кура мы ненавидим всем сердцем, но только по праздникам, а в будни мы готовы часами стоять неподвижно у порога его кузницы и с почтительным любопытством следить за всяким движением его проеденных копотью рук. В это время мы даже любим его. Но в праздники, когда, смыв с себя копоть, он припомадит волосы, наденет лимонного цвета рубаху и, набросив на широкие плечи голубой пиджачок, который

называется «твинчик», выйдет за ворота погулять с хацкелятами, он сразу становится нашим врагом, точно это другой Хацкель Кур: прищуренные, узкие глазки, хитроватая, кривая усмешка и зловещая молчаливость пирата. На нас, макрюх, он никогда не глядит, никогда не разговаривает с нами, и от этого кажется нам еще страшнее. Хацкелята — его верная шайка. Взрослые считают его сумасшедшим, потому что он играет только в детские игры и водится только с мальчишками. Поглядели бы вы, как во время дождя он плещется в лужах босыми ногами, как он бежит вместе с оравой своих хацкелят за шарманщиком, показывающим по дворам обезьянку, как он дразнит индюка, живущего во дворе у мадам Чумаченко! Хацкелята за него — в огонь и в воду. Любят его больше, чем своих матерей и отцов. А матери и отцы у хацкелят — важные люди: ростовщики, маклеры, лошадиные барышники, владельцы базарных ларьков. И важнее всех — знаменитый квасник, бородатый Ермолай Пантелеев, «кацап» [1], владеющий зелеными будками для продажи хлебного кваса на всех перекрестках города. У него семь сыновей, и пятеро из них — хацкелята: Ванька, Володька, Игнашка, Андрейка и даже семилетний Николка. Фичасом называется самый воинственный из них, придурковатый Игнашка, потому что, когда его зовут домой, он кричит в ответ не «сейчас», а «фичас».

Любимое занятие Хацкеля Кура — пускание змея. Из этого мирного занятия он сделал себе разбойничий промысел. Когда его змей пущен в небо, никто из нас и думать не смеет пустить своего змея в тот же час, потому что змей Хацкеля Кура, как бешеный, налетает на нашего, берет его в плен или уничтожает его. Змей Хацкеля Кура могуч и огромен и гудит во время полета, как сотня шмелей. Пускают его в небо не на нитке, а на «английском шпагате», которого не перервать и силачу. Хацкель Кур чувствует себя единственным хозяином неба, и перед ним наши бедные змеи все равно что воробьи перед коршуном.

Теперь, засыпая, я думаю то, что думал уже тысячу раз: как было бы хорошо, если бы мне удалось (вместе с Лёнькой Алигераки и Муней) соорудить такого сильного змея, который схватился бы в небе с врагом и победил бы его. Был бы у меня английский шпагат, — ого-го! — показал бы я Хацкелю Куру!

С этой веселой мечтой я заснул.

---

[1] «Кацапами» на Украине называли великороссов.

Глава седьмая

«ПО-ХРИСТИАНСКИ, ПО-БРАТСКИ»

Но в воскресенье я проснулся печальный.

Великая победа над Фичасом показалась мне далеким и неинтересным событием. Схватка с Хацкелем Куром потеряла для меня всякую прелесть. Зато до подробностей вспомнилась вчерашняя катастрофа в гимназии, и я чуть не вскрикнул от боли. Вскочил с постели и, не умываясь, помчался во двор, подальше от мамы, чтобы по моему жалкому виду она не догадалась о нашей беде. Под квартирой был погреб. Я приподнял его тяжелую дверь.

— Куда? — закричала Маруся, не отрываясь от книги.

— К ежику.

Но ежика я даже не искал. Я сейчас же забыл о нем, сел на поломанный ящик и застонал, как больной. Какое горе! Какое ужасное горе! Мне казалось, что нет на всей земле человека несчастнее меня, что никогда в жизни я уже не буду смеяться, что я с охотою сейчас же лег бы в гроб, лишь бы не испытывать такого мучения.

Этот гроб представился мне с необыкновенною ясностью. Он стоит на коротеньких ножках в «гостиной», наискосок от окна, белый, с золотыми кистями, а кругом венки и цветы и атласные ленты. И на лентах надписи красивыми буквами:

«Незабвенному товарищу от пятиклассников пятой гимназии».

«Безвременно погибшему брату».

«Лучшему другу от Лёки Курындиной».

Я лежу в гробу с замученным лицом, и все любовно глядят на меня.

«Отчего он умер?» спрашивает Марусю мадам Чумаченко. «Ах! — отвечает она. — Он был такой гордый, такой благородный, а мы были а б с о л ю т н о несправедливы к нему». И она прижимает к глазам мокрый от слез платок. Только теперь ей становится ясно, какой у нее был замечательный брат.

Сзади всех, сгорбившись и приподняв воротники, точно воры, стоят Шестиглазый и Прошка. Носы у них разбухли от слез, щеки стали серыми, как глина, волосы всклокочены, губы дрожат.

«Они, они виновны в его смерти!» грозно кричит Муня Блохин. Все с ненавистью смотрят на них.

Они горбятся еще сильнее и глядят исподлобья. Глаза у них виновато-испуганные, как у нашкодившей собаки, которую собираются бить.

«И я, и я повинен в его гибели!» говорит с тоскою поп Мелетий, вырывая у себя из бороды целый клок.

Но кто это хнычет над моим изголовьем? Зюзя Козельский! Слезы его льются ко мне в гроб и обильно поливают мои мертвые щеки.

«Меня, — всхлипывает он, — подучил Валька Тюнтин, а я сказал на него, на покойного... А он ни в чем, ни в чем не виноват».

И Зюзя плачет водопадами слез...

Зрелище моей собственной смерти доставляет мне большое удовольствие. Я мало-помалу успокаиваюсь.

«Еще не все потеряно! — говорю я себе. — Я пойду к Зюзе и к Тюнтину, пусть они сейчас же заявят Бурмейстеру, что меня исключили неправильно, что во всем виноваты они. Бурмейстер ошибается, Бурмейстер не знает, Бурмейстеру кажется, что на всю гимназию я самый большой негодяй. Но негодяи они, а не я, и нужно вывести их на чистую воду... Вот это будет здорово!» говорю я себе.

Слезы мои мигом высыхают.

— Вот это будет здорово, честное слово!

Я вскакиваю и начинаю шагать в темноте. Погреб заканчивается длинной пещерой, ведущей неизвестно куда. Пещера усеяна осколками угля, которые тускло блестят под ногами.

Как только Бурмейстер узнает, что ему нужно сердиться не на меня, а на Тюнтина, он пошлет ко мне красноносого Прошку, и Прошка, пьяненький, придет ко мне и скажет:

«Возвращайтесь, милорд, в гимназию... и позвольте мне на минуточку вашу фуражечку...»

И вденет в нее новый гимназический герб.

Мне становится так весело, будто все это произошло на самом деле. Я поднимаю с пола осколки угля и со всего размаху бросаю их в пещеру один за другим. Там что-то звякает: не то стекло, не то жесть. Где-то сзади, за ящиками, фыркает еж.

Да, я пойду к Тюнтину, к Зюзе Козельскому, я уговорю их сказать Шестиглазому правду, и тогда я — снова гимназист! Приду и сяду на свою скамью, рядом с Зуевым, и буду учиться, как чорт. Они согласятся, еще бы! Ведь не захотят же они, чтобы я пропадал из-за них! Это будет чудесно, и мама ничего не узнает, и голова у нее не будет болеть! Я скажу ей как-нибудь утром за завтраком, месяца через два, уже во время каникул: «Знаешь, мама, меня по ошибке хотели исключить из гимназии. Но теперь эта ошибка исправлена. Я тогда не говорил тебе об этом, чтобы ты не волновалась понапрасну».

Сердце мое прыгает от радости. Я весело бросаю в пещеру целые пригоршни обломков угля.

Через минуту я выбегаю из погреба и по дороге к воротам что есть силы ударяю двумя каблуками по железному листу нашей ямы.

Лист звенит на весь двор. На крыльцо выбегает Маруся.

— Куда ты?

— Я недалеко. Я сейчас.

Скорее к Тюнтину, к Зюзе Козельскому! Мимо дома Магнера мне не пройти. Там подстерегают меня хацкелята, жаждущие отомстить за Фичаса. Нужно пробираться обходными путями, по Старо-Портофранковской улице. Я бегу, как на пожар, и мне кажется, что все мое спасение в том, чтобы добежать поскорее до Тюнтина.

Вот и его дом, трехэтажный, ярко-голубой, на Приморском бульваре.

Над воротами новая, желтая, как цыпленок, табличка:

«Дом вдовы подполковника Аглаи Семеновны Тюнтиной».

Я взбегаю по каменной лестнице, только что окрашенной под мрамор, и дергаю за ручку колокольчика.

Тюнтин еще не вставал. Очень красивая горничная, с гордым и печальным лицом, которое все перекошено флюсом, вводит меня в крохотную комнатку. Там в высокой клетке на медном кольце сидит невзрачный и плешивый попугай и глядит на меня со стариковским презрением. Через открытую балконную дверь видно далекое море.

Я нетерпеливо шагаю по комнате взад и вперед, и меня окружают Тюнтины: Тюнтин на велосипеде, Тюнтин в матросском костюме, Тюнтин пятимесячным младенцем, Тюнтин верхом на пони, Тюнтин с матерью, Тюнтин с собакой — десятка два фотографических карточек, изображающих Тюнтина.

«Куда столько Тюнтиных!» думаю я с удивлением.

Но тут вбегает низенькая женщина в пятнистом капоте, похожая на добродушную жабу. Бровей у нее нет, все лицо в бородавках.

Это мать Тюнтина, хорошо известная всем гимназистам пылкой влюбленностью в сына. Она постоянно провожает его к воротам гимназии и крестит и целует его на прощанье, так что прохожие смеются над нею, а Валентин угрюмо буркает ей злые слова и скорее убегает в подворотню. Ему совестно, что она его мать, что она такая толстая, что у нее бородавки, что она зовет его «бэби» и «солнышко».

— Он у меня хрупкий! — говорит она каждому, а он — здоровый, сонный, тупой и надутый. Мы в гимназии зовем его «Мурло».

Самое имя его «Валентин» она произносит особенным голосом, на французский манер: «Валентэн».

— Валентэн еще спит. Я его не бужу. Пусть хоть в воскресенье подремлет. Он у меня такой неврастеник. (Она говорит «нэврастэник».)

В ее голосе слышится гордость. Как будто быть «нэврастэником» — большая заслуга.

Я хочу сказать ей, зачем я пришел, но она подбегает к висящим на стене фотографиям и подробно, как экскурсовод в музее, рассказывает о каждой из них:

— Вот это Валентин в Ай-Тодоре, в Крыму, под своим любимым кипарисом. Посмотрите, какой у него классический профиль. А это в ванночке, голенький, когда ему было одиннадцать месяцев. А это на елке у графа Капниста... А это — отец Валентина, мой муж, когда он был полицмейстером в Риге. Вылитый Тургенев, не правда ли?

Всему городу было известно, что этот «вылитый Тургенев» был жулик. У нас во дворе жил один из его подручных, Суббоцкий, с которым они вместе занимались ростовщичеством, скупкою краденого и другими темными делами.

Я мрачно молчу и жду, когда мадам Тюнтина хоть на секунду умолкнет, чтобы я мог сказать ей, зачем я пришел. Но она без всякой паузы спрашивает:

— А ваш отец... скажите... он тоже военный?

— Отца у меня нет, — говорю я краснея.

— То есть как это так: нет отца?

Я еще сильнее конфужусь и виновато молчу. Всякий раз, когда кто-нибудь спрашивает меня об отце, я испытываю отчаянный стыд.

— Где же ваш папа?.. Умер?..

— Нет, он жив... Только мама... Только я... Я его ни разу не видел...

Она хмурит напудренный лоб, и глаза ее теряют свою сладость.

— То есть как это: ни разу не видели?

Я беру со столика тяжелую чугунную пепельницу и в смущении верчу ее в руках.

— Так, так, так! — многозначительно говорит мадам Тюнтина и, взяв у меня из рук чугунную пепельницу, ставит ее со стуком обратно на стол. — Что же вам нужно от моего Валентина?

— Видите ли, — говорю я волнуясь, — Шестиглазый... то есть наш директор, ну, Бурмейстер... выгнал меня вчера из гимназии за то, что я будто бы подучил одного... вы его не знаете... Зюзю Козельского...

подделать отметки и закопать свой дневник. А я тут ни при чем. Это сделал Валя Тюнтин... ваш сын... Валентин... Вот я и хочу, чтобы он завтра сказал Шестиглазому, что меня исключили... неправильно...

Мадам Тюнтина вскакивает, словно ее укусила гадюка.

— Валентин! — зовет она. — Валентин! Валентин!

Из всех моих слов она поняла лишь одно: что я угрожаю ее Валентину какой-то бедой.

В дверях появляется Тюнтин, надутый и сонный. Его свиноподобное лицо выражает непробудную скуку.

— Тюнтин! Тюнтин! — говорю я ему. — Твоя мама не знает, но ты ей скажи... Ты скажи Бурмейстеру и всем. Ведь я из-за тебя... Ведь это ты... Ведь не я же это сделал, а ты... А если ты не скажешь, Валя Тюнтин...

Он спокойно глядит на меня, как я размазываю по щекам свои слезы грязными от угля кулаками, бормочет мне невнятные слова и скучающей, неторопливой походкой уходит в соседнюю комнату. За ним семенит его мать. Из комнаты доносится ее взволнованный шопот.

Наконец оба возвращаются, и у обоих такие ласковые, добрые лица! Мадам Тюнтина порывисто подходит ко мне, согревая меня теплой улыбкой, и гладит меня по рукаву моей куртки.

— Перестаньте же... ну, перестаньте же плакать... Ну, перестаньте же... ну, не надо, ну, не надо, пожалуйста! Все будет хорошо... Вы увидите...

Я смотрю на нее с надеждой и радостью.

— О, Валентин... Вы его не знаете... Он такой... как это говорится?.. отзывчивый... И вот мы решили по-христиански, по-братски...

И, внезапно разжав мой кулак, она сует туда скомканную пачку бумажек. По всем ее бородавкам разливается нежность.

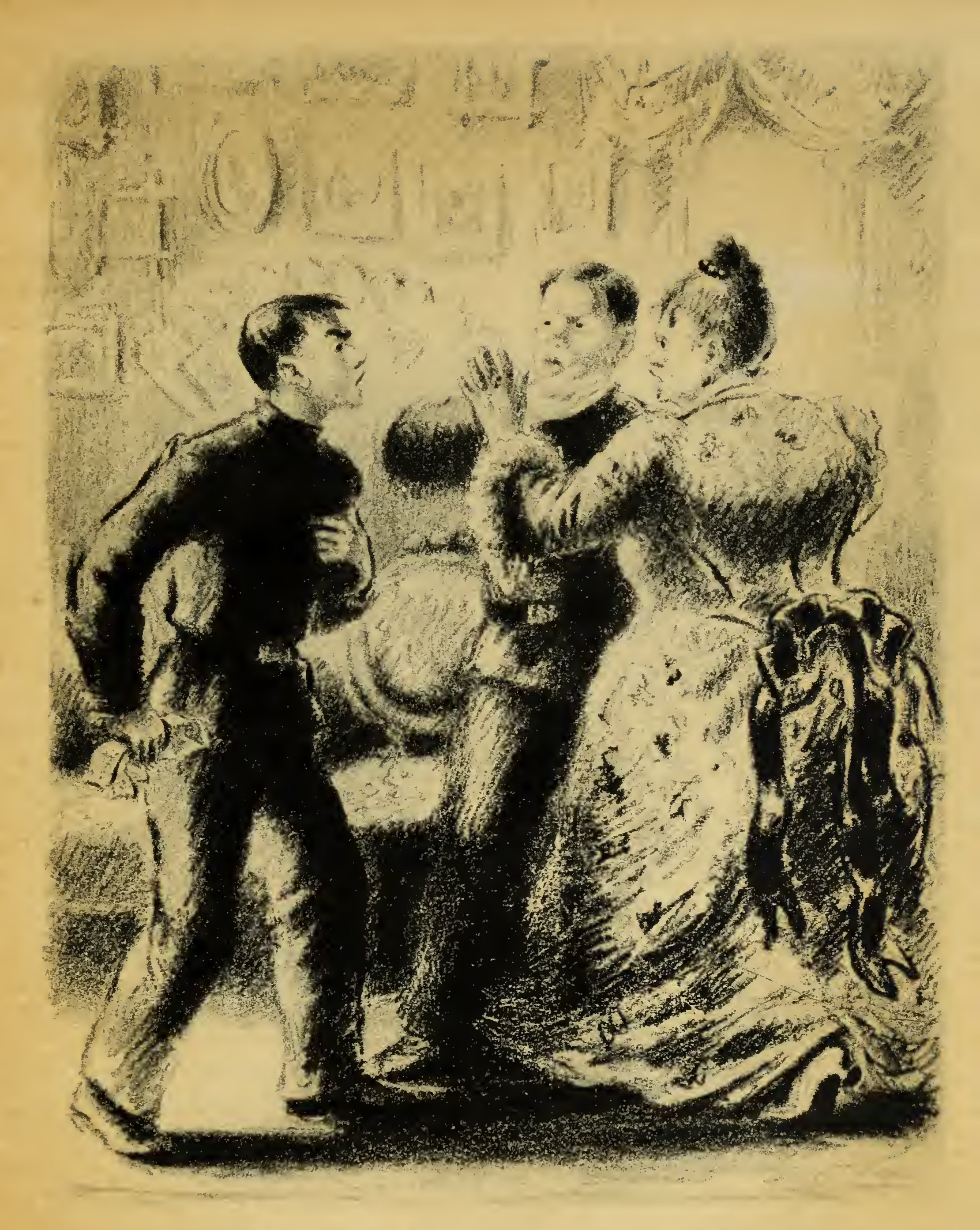
Я оторопело гляжу на бумажки. Это пятирублевки. Их семь или восемь.

— Бери, бери, пригодятся! — покровительственно говорит Валентин, чувствуя себя моим благодетелем.

— Как пригодятся? Куда?

— Видите ли, мой дорогой, — медовым голосом лепечет мадам Тюнтина, — у вас начинается новая жизнь. Теперь, когда вы ушли из гимназии...

— То есть как это: ушел из гимназии! Ведь если Тюнтин, если Валентин, если он...



Ах ты, мурло, ах ты, мурло, ах ты, мурло!.. говорю я ему, задыхаясь от злобы.

— Ну, зачем вам гимназия? — мягко перебивает она. — Я говорю вам любя... от души... ради вашей же пользы... Вы даже не знаете, кто ваш отец... А Валентин... он будет послом, вы увидите... У него такие связи, такая карьера...

— Значит, я должен сказать вашему Валентину спасибо за то, что он делает мне, своему товарищу, подлость?

— Товарищу? — широко улыбается Тюнтина-мать, становясь еще больше похожей на жабу. — Извините, но какой же вы товарищ моему Валентину? Ваша мамаша, — мне сейчас говорил Валентин, — стирает сорочки для мадам Чумаченко... И кроме того...

По ее усмешке я вижу, что ей уже известна наша тайна. Я с самого раннего детства привык угадывать по лицам людей, знают ли они эту тайну. Да, Валентин уже шепнул обо мне своей матери, это чувствуется в каждой морщине ее пудреного дряблого лица.

Меня охватывает бешенство. Мне хочется ударом ноги опрокинуть на нее мраморный столик с чугунным подсвечником, так чтобы она отлетела к самой дальней стене, и больно отхлестать Валентина по его сонным щекам.

— Ах ты, мурло, ах ты, мурло, ах ты, мурло!.. — говорю я ему, задыхаясь от злобы. — Ах ты, мурло тупорылое!

В ожидании пощечины он прикрывает свой «классический профиль» руками. Мадам Тюнтина бросается ко мне, чтоб защитить своего Валентина, но я отталкиваю ее и, кинув комок пятирублевок в попугайную клетку, выбегаю из комнаты, не переставая твердить:

— Ах ты, мурло, ах ты, мурло, ах ты, мурло тупорылое!

Глава восьмая

ЗЮЗЯ И ТИМОША. — ПРЕМУДРАЯ МАЛЬВИНА

«Еще не все пропало. К Козельскому!» говорю я себе, но куда девалась моя недавняя бодрость! Согнувшись в три погибели, еле передвигая ногами, я безнадежно бреду к Воронцовскому саду.

Козельские живут в двух шагах от своей «Воронцовской» аптеки. Их окна выходят во двор. Двор старинный: тихий и тенистый, вымощен плитами лавы. Во дворе — тополя и фонтан: статуя голого мальчика с лебедем. Перед окнами небольшой палисадник. В палисаднике среди лавровых кустов весело толпится народ и заглядывает в комнаты, будто там свадьба.

Я подхожу к окну, и первое, что я вижу: глаза. Выпученные, налитые кровью. Страшные глаза, словно два револьвера. Глаза направлены на Зюзю Козельского, который скрючился за спинкой большого дивана, отодвинутого наискось от стены. Зюзиного лица мне не видно, но даже его затылок выражает испуг. Глаза принадлежат его отцу, аптекарю Сигизмунду Козельскому. Это — приземистый гном с огненно-красными щеками, без шеи.

Вся мебель сдвинута с места, перевернута, как во время пожара. Можно в первую минуту подумать, что у отца с сыном происходит игра: отец гоняется за сыном по комнатам, а тот, убегая, подставляет ему в шутку то столик, то ширму, то этажерку, то стул. Издали это могло бы показаться цирковым представлением, если бы отец не был так разъярен, а сын не был бы так ужасно испуган. Теперь их обоих разделяет последняя баррикада: диван. Всякий раз, когда отец хочет обойти ее справа, сын, не спуская с него настороженных глаз, ускользает вдоль дивана влево. Стóит отцу ринуться влево, сын оказывается на правом конце. Это повторяется раз двадцать подряд в глубоком молчании.

— От хороба![1] Не хочет уважить отцу! — негодуют в толпе на Зюзю.

Но отец всем своим туловищем — плечами и грудью — налегает на спинку дивана, диван надвигается прямо на Зюзю и гонит его в угол. Зюзя пятится и попадает в западню. Он пробует прошмыгнуть под диваном, но отец хватает его за штаны и выволакивает на середину комнаты, как тряпичную куклу.

Мне становится страшно, и я закрываю глаза. Толпа еще теснее придвигается к окнам. Я убегаю в подворотню и вижу белобородого дворника, который сидит на завалинке и ласково гладит большого кота, мурлыкающего у него на коленях.

Я очень застенчив: боюсь заговаривать с дворниками. Дворники, почтальоны, швейцары, городовые и даже кондукторы конки кажутся мне вроде начальства и внушают мне непобедимую робость. Но этот дворник так мягко, по-старушечьи гладит кота, что я осмеливаюсь попросить его, чтобы он поскорее пошел за полицией.

— Тут полиции не требуется, — возражает он украинским голосом, лениво и ласково. — Батько лу́пцуе дытыну, щоб була розумнийше[2]. Какая же тут полиция? На то он и батько.

---

[1] Вот негодяй!
[2] Отец колотит сына, чтобы научить его разуму.

Голос у старика задушевный. Кот под его доброю рукою мурлычет, как будто воркует.

Я медленно выхожу на Соборную площадь. Мне жалко Зюзю, но еще больше мне жалко себя. Значит, мое дело пропащее. Не пойдет Зюзя завтра к директору и не скажет ему правды о Тюнтине. Теперь он запуган досмерти, теперь от него уже ничего не добьешься: три дня он будет плакать и дрожать по-собачьи. Что же мне делать? Куда мне итти? С кем посоветоваться? Бедная моя мама! А эта пятнистая жаба, какие гнусные у нее бородавки! И как влюблена она в своего Валентина!

Часы на соборе показывают без четверти час. Значит, мне осталось всего семнадцать часов. Что же можно сделать за семнадцать часов?

И вдруг мне ясно представилась лопоухая физиономия Тимоши. С какой ненавистью глядел он вчера на красноносого Прохора, когда тот выламывал у меня из фуражки мой герб!

Поп Мелетий и Тимошин отец — земляки, оба они из Архангельска, и если Тимошин отец скажет слово Мелетию, Мелетий смилуется надо мною, и я — снова в гимназии!

«Но дойду ли я до Тимоши?» Я сразу почувствовал себя усталым и слабым. Путь не близкий: через весь город, а потом окраинами парка — вниз по откосу — к морю.

Мы подружились с Тимошей еще в первом классе, на девятом году нашей жизни, чуть только он поступил к нам в гимназию.

Товарищам он тогда не понравился: веснущатый, с большими ушами, заика. Заикаясь, он брызгал слюною, и все убегали от него, не дослушав. А он, как и многие заики, любил говорить. Я единственный с первых же дней был его терпеливым и снисходительным слушателем.

Сначала я слушал его только из жалости, чтобы не обидеть его, а потом стал слушать из любопытства, для своего удовольствия, потому что он рассказывал мне о Синдбаде-Мореходе, о птице Рох, о лампе Аладдина, о волшебных пещерах, наполненных золотыми сосудами, о подземных садах, где копошатся чудовища, и, главное, о контрабандистах и веселых разбойниках, которых он будто бы видел своими глазами.

Его отец был начальник морской таможни и ловил контрабандистов десятками, — так, по крайней мере, говорил мне Тимоша.

Потом я понял, что эти рассказы — фантазия, но тогда я верил им, и они волновали меня.

Контрабандисты в этих рассказах были все как на подбор смельчаки, черноусые красавцы, великаны, с длинными пистолетами в белых зубах, но Тимошин отец был смелее их всех: он в страшную бурю выезжал против них на таможенном катере — один против всех — и, смеясь над их выстрелами, брал их в плен, как Гулливер лилипутов.

Я очень удивился потом, увидев его отца: этот грозный сокрушитель пиратов оказался самым обыкновенным чиновником — лысоватый, с землистым лицом, в теплых валенках, которые он носил даже летом, потому что страдал ревматизмом.

Может быть, Тимоша оттого и выдумал себе другого отца, что его подлинный отец был такой плюгавый и скучный.

О подвигах этого выдуманного отца Тимоша рассказывал мне чаще всего на задворках нашего дома. Там стояли «каламашки» — большие некрашеные полукруглые ящики, в которых вывозили снег и мусор.

Мы часто влезали вместе с ним в каламашку, ложились на ее занозистое, грязное дно и, покачиваясь в ней, как в колыбели, шептали друг другу всякие небылицы и выдумки.

Это у нас называлось почему-то «говорить про Багдад».

И вскоре случилось чудо, которое я до сих пор не могу объяснить: разговаривая со мною, Тимоша почти перестал заикаться. В разговоре с другими он заикался попрежнему, но чуть только влезал в каламашку и, глядя в вечернее небо, начинал говорить «про Багдад», речь его становилась почти такой же текучей и гладкой, как у всякого другого мальчишки.

Позже, когда мы оба перешли в третий класс и стали читать из недели в неделю бурнопламенный журнал «Вокруг света», который выписывала Тимошина мать из Москвы, мы стали в той же каламашке рассказывать друг другу истории о следопытах, людоедах, ковбоях, огнедышащих горах и африканских миражах.

Замечательно, что, едва только попадали мы на дно каламашки и, качаясь, как в лодке, начинали говорить «про Багдад», мы словно переселялись в другую страну и сами становились другими, не такими, какими были за минуту до этого, когда дразнили на улице козла Филимона или воевали с ордой хацкелят.

Там же, в каламашке, уже будучи в пятом классе, я открыл Тимоше две важные тайны, которых не открывал никому: что я люблю Лёку Курындину и что я сочиняю стихи. Об этом я говорил ему толь-

ко в каламашке. Едва мы вылезали оттуда наружу, все подобные разговоры у нас прекращались, и Тимоша страшно удивился бы, если бы в классе или на улице я сказал хоть одно слово о том, о чем мы говорили в каламашке.

Я спустился по тропинке вниз к таможне и тут только почувствовал, что куртка моя промокла насквозь: должно быть, я шел под дождем, но так задумался, что не заметил его. Вот и море, полосатое от пены. С моря сразу ударил в меня свистящий и режущий ветер.

Дом, в котором живет Тимоша, больше похож на пароход, чем на дом. Узкий и длинный, с высокой «кормой», он вдается своим портиком в море и, кажется, вот-вот поплывет. У него есть и палуба — широкий балкон, окружающий весь его корпус. Всегда над ним носятся чайки и хлопает невидимый флаг. Сейчас он весь сотрясается от прибоя и ветра. Я поднимаюсь по узенькой лестнице, похожей на трап корабля, и до меня доносится знакомая музыка, которую не в силах заглушить даже буря. Один и тот же затейливый и нудный мотив, упрямо повторяемый тысячу раз.

Это играет на рояле Тимошина мать. Значит, она снова не поладила с мужем. Муж у нее то, что называется деспот: после всякой семейной ссоры не произносит ни слова в течение пяти-шести месяцев. Мучает ее многодневным молчанием. Она пробует заговаривать с ним, но он молчит, как немой. Тимоша рассказывал мне, что однажды его отец промолчал таким образом около двух с половиною лет. Поневоле несчастная ударилась в музыку и играет все дни напролет с утра до вечера, покуда не кончится ссора.

Дверь была не заперта. Я вошел и сейчас же увидел раскрытый рояль, за которым сидела маленькая желтолицая женщина с черными китайскими глазками, с жидкими седыми косичками, прыгающими вокруг ее головы, как живые. Лицо у нее было замученное. И все же она сидела удивительно прямо и била, и била, и била по клавишам, как будто вся задача ее жизни была в том, чтобы рояль не замолчал ни на минуту.

— Здравствуйте, — сказал я входя, но она даже не посмотрела в мою сторону.

Я хотел попросить ее, чтобы она похлопотала обо мне у Мелетия, но увидел ее одичалое лицо, увидел, с каким сумасшедшим упрямством стучит она по раздребезженным костяшкам, и понял, что разговаривать с ней бесполезно.

Я шагнул в столовую. Там, выпучив рачьи глаза, метался от

буфета к окну замученный музыкой Тимошин отец. Видно было, что он отдал бы все, чтобы она хоть на час прекратилась, но она гремела беспощадно и мстительно, заполняя собою весь дом. Я открыл было рот, чтобы рассказать ему о моей катастрофе, но, взглянув на него, испугался.

«Зачем же эти люди живут вместе, если они так ненавидят друг друга?» пронеслась во мне смутная мысль, но я сейчас же позабыл о ней.

Где же Тимоша? Я спустился в кухню, — она была внизу, словно корабельный камбуз, — и там мне сказали, что Тимоша только что ушел на Молдаванку к какому-то Волкову и вряд ли вернется до вечера.

— К Волкову? К Василию Никитичу?

Волков — наш учитель географии. Мы часто ходим к нему на квартиру. Он угощает нас печеным картофелем и рассказывает о своих путешествиях. Смолоду он побывал в Малой Азии, на Балканах, в Египте и нынче летом собирается в Финляндию. «Какой я был бы, к чорту, географ, если бы дальше Собачьего переулка ничего не видал!» любит он повторять на уроках. У него бывают и Мейер, и Тимоша, и Лёка Курындина, и горбатый Иглицкий.

Чуть не ползком я взбираюсь по крутому откосу к бульвару. Дождь моросит, словно осенью.

Теперь уж я пропал наверняка. Все мои надежды провалились: я уже не жду ничего ни от Тимошиного отца, ни от Тюнтина, ни от Зюзи Козельского. Не пойдет Тимошин отец хлопотать обо мне у Мелетия. Теперь он разъярен, как хорек. И жена его, обычно такая приветливая, теперь ни на минуту не прекратит своей музыки, чтобы выслушать и утешить меня.

Возненавидев друг друга, эти люди тотчас же начинали ненавидеть весь мир.

Я долго шагаю по каким-то переулкам и улицам, почти в беспамятстве, не замечая дороги. Вот и Молдаванка. Вот и облупленный одноэтажный домишко, где проживает Василий Никитич. Но его нет дома. На дверях у него замок. На окнах глухие ставни. В палисаднике, под мокрой акацией, на груде мокрых камней сидит восьмиклассник Мейер («Спиноза») и читает какую-то книгу близорукими черными большими глазами.

Я всегда робею перед ним: он такой ученый и важный.

— А Василий Никитич? — спрашиваю я еле слышно.

Он пожимает плечами.

— Больше у него воскресений не будет.

— Не будет воскресений?

— Не будет.

Я стою и жду, не скажет ли он еще что-нибудь, но он снова утонул в своей книге.

Его отец — переплетчик, владелец большой мастерской, и потому книг у него сколько угодно. С малых лет приучился он читать книги, которые переплетает отец. Но заказчики постоянно торопят отца. Приходится читать очень быстро, не прерывая чтения даже во время ходьбы.

Я хочу спросить, скоро ли вернется Василий Никитич, но не решаюсь и тихо ухожу от него.

Меня окружают неизвестные улицы. Я иду, сам не знаю куда. А потом сажусь на ступеньку у каких-то дверей, закрываю глаза и прислоняюсь головою к перилам. Как в тумане, проплывают передо мною мутно-лиловые тени, и каждая тень — Тюнтин: Тюнтин на велосипеде, Тюнтин верхом на пони, Тюнтин в матросском костюме, Тюнтин пятимесячным младенцем, Тюнтин в черкесской папахе, — все Тюнтины, каких я видел сегодня на фотографических карточках. А потом они сразу исчезают, и я теряю сознание.

В детстве это случалось со мною нередко. Однажды, когда мама вынимала иголкой у меня из ладони занозу, я «сомлел» у нее на руках. В другой раз, после долгого морского купанья, я пролежал в беспамятстве на раскаленном берегу около четверти часа, и у меня украли незабвенное жестяное ведерко, о котором я потом тосковал много дней.

. . . .

Очнулся я среди каких-то птиц. Птицы стояли рядами на полках. Крохотные страусы, не больше мизинца, маленькие журавли без носов, круглоголовые филины.

— А это что за птицы с такими хвостами?

— Это ибисы, священные, египетские.

Голос был незнакомый, не русский, необыкновенно приятный. Я услышал его и опять задремал. Когда я проснулся, в комнате шел разговор.

— Как же вам не стыдно, папаша? — говорил тот же голос. — Фуй! Это прямо стыд! Ведь вы уже получили четыре куска.

В ответ послышалось виноватое шамканье.

— Фуй, какой стыд! Что сказала бы покойная мамаша? Фуй! Фуй! Мне так стыдно, так стыдно за вас!

Я приоткрыл глаза и увидел древнего старика без бороды и усов, в колпаке с яркой кисточкой. Нос у него был длинный и острый. На кончике этого носа понемногу скоплялась светлая, чистая, прозрачная капля и падала к старику на колени. Еще... Еще... Я долго следил за этими ясными каплями, и на душе у меня сделалось очень спокойно.

— Он проснулся! — произнес тот же голос, который только что журил старика. — Сестрица Франциска, готово ли?

Тут я почуял очаровательный запах фасоли. Запах был такой же приветливый, как и всё в этой комнате. Я вдохнул его полною грудью и, приподнявшись на диване, увидел двух очень румяных старушек, тоненьких и маленьких, как десятилетние девочки. Словно кто насыпал им на голову снегу — такие были у них белые волосы.

Где я? Куда я попал?

Заметив, что я не сплю, одна из них подала мне дымящуюся миску похлебки и черствую горбушку сероватого хлеба, который на юге называется ситным. Живо расправившись с этой едой, я увидел на дне миски картинку: три пуделя с разноцветными бантами сидят и ухмыляются, как люди, а один из них подмигивает, будто знает обо мне что-то смешное.

Вообще обитатели комнаты, очевидно, до страсти любили картинки: даже на одеяле, которым они прикрыли меня, были вышиты звезды и бабочки. Стены сверху донизу покрывали маленькие разноцветные коврики с вышитыми тиграми, рыцарями, цветами, якорями и радугами. На диване выстроились по росту подушки всевозможных цветов и размеров, и каждая представляла собою картинку: на одной были розы, на другой те же самые пудели, которых я только что видел на дне моей миски, на третьей — Робинзон Крузо с длинной бородой и под зонтиком.

Я оглядывал эту веселую комнату, и на сердце у меня становилось спокойнее. Комната как будто говорила: «Какой это вздор, что на свете бывают несчастья! На свете есть только мягкие коврики, да тиканье часов, да разноцветные картинки, да подушки».

— Сестрица Мальвина, дайте мне, пожалуйста, коробочку спичек!

Коробочка оказалась в футляре из темносинего бисера, а когда сестрица Франциска, взобравшись на стул, зажгла большую висячую лампу, на бумажном абажуре этой лампы сейчас же заплясали силуэты китайчат и китайцев.

Вскоре я разговорился с хозяйками этой удивительной комнаты. Оказалось, что, когда я упал у чужого крыльца, мимо проходил полутрезвый старик, вроде отставного пожарного, обхватил меня руками и попытался поднять. Но сил у него нехватило: приподняв меня до половины, он обрушился на меня всей своей тяжестью. Это рассмешило прохожих. К счастью, какая-то женщина высвободила меня и с помощью подбежавших мальчишек довела до своих знакомых старух, которые и уложили меня на диван.

Одна из этих старух была прыткая, быстрая, говорливая, с молодыми движениями, а другая — солиднее, старше, в очках.

Родом (как узнал я впоследствии) они были из Эльзас-Лотарингии: мамзель Франциска и мамзель Мальвина. В нашем городе они жили чуть не с самого детства и вполне правильно говорили по-русски, с очень приятным иностранным акцентом. Только вместо «будто бы» говорили «бýдбето».

— Мы смотрим в окошко, а там бýдбето кто-то лежит. «Ах, — говорю я сестрице Франциске, — он уже бýдбето мертвый».

Их папа, мсье Рикке, был когда-то учителем танцев, но теперь ему девяносто шесть лет, и он издавна сидит в своем кресле под темным пледом, на котором вышита черная летучая мышь на фоне огромной луны. Он уже оглох, плохо видит, он даже охладел к табаку, который нюхал еще два года назад. Целыми неделями не произносит ни слова. Но есть в этой жизни одно, что попрежнему ему любо: это сахар. И так как ему мало кусков, которые выдают ему дочери, он ворует у них сахар при всякой возможности. И так как это доставляет ему удовольствие, дочери нарочно ставят сахарницу у него под рукой, чтобы ему было удобнее воровать. Уморительно было смотреть, как он, озираясь по сторонам, точно взаправдашный вор, протягивает руку за добычей, которую они сами подставляют ему. Воображая, будто он совершил необыкновенно ловкую кражу, он радуется, точно младенец. Кусок сахару, который он в ту же секунду кладет себе в рот и начинает со смаком сосать, кажется ему вдвое вкуснее, оттого что он считает этот кусок уворованным. Особенно ему приятно, если ему говорят:

— Фуй, папаша, как же вам не стыдно!

Тогда ему мерещится, что он в самом деле ужасный пройдоха. Это ему льстит, и он самодовольно хихикает.

Рассказывая мне об этих причудах отца, сестры в то же время непрестанно работали: перед ними на столе были навалены грудами

разноцветные лоскутки всевозможных материй, они быстро сшивали их нитками гаруса, отчего получалась узорчатая красно-сине-зеленая скатерть. Мне казалось, что я век пролежал бы вот так на диване и смотрел бы, как мелькают их быстрые руки. Они рассказали мне (впрочем, рассказывала одна лишь Франциска, а Мальвина только сочувственно шевелила бровями), что они обе преподают в разных школах рукоделье и музыку и, кроме того, делают из гаруса птиц для продажи.

— Вот посмотрите! — сказала Франциска, взяла ножницы и игральную карту, сложила ее вчетверо, вырезала из нее кружок вроде бублика, обмотала его гарусом ярко-желтого цвета, позвякала вокруг него ножницами — и получился пушистый цыпленок, будто сейчас из яйца.

— Жалко, нет воска для клюва. Вон сколько у нас журавлей без носов! — со вздохом сказала Франциска. — Воск ужасно вздорожал.

— Ужасно! — вздохнула Мальвина. — А этот негодный Субботский...

Субботского я знал. Он жил у нас во дворе и держал писчебумажную лавчонку, помещавшуюся наискосок от гимназии Кроль. Маленький и юркий, как чиж, он сладко улыбался желторотым своим покупателям, гладил их по головам и звал «деточками».

— Вот тебе, деточка, промокашечка с ленточкой.

Но при всем том был завзятый мошенник. По словам Франциски и Мальвины, он скупал у них за бесценок их филинов, страусов, цыплят, журавлей и продавал в магазины, наживая огромный барыш. За каждого цыпленка он платил им всего только девять копеек, а получал за каждого — полтинник. Магазины же продавали цыплят по рублю, потому что цыплята Субботского славились своей красотой. Они так и назывались «цыплята Субботского». Их покупали нарасхват, особенно к пасхе и к елке. Между тем материал для приготовления птиц стоил так дорого, что за работу обеим сестрам оставалось не больше копейки с цыпленка.

— Я достану вам воску! — сказал я, обрадовавшись, что могу угодить им. — Я скажу дяде Фоме, он привезет из деревни... у него есть, он мне сам говорил. У него в деревне и пчелы и мед.

И я рассказал им про дядю Фому. А потом про маму, про Бурмейстера, про свалившееся на меня горе. Они слушали, кивали головами, и вдруг Мальвина повелительно сказала:

— Вы должны сейчас же пойти и рассказать всю правду вашей

маме. Ей будет больно? Пускай. Лучше боль, чем неправда. Лучше даже смерть, чем неправда. Подите и скажите своей маме правду, и вы увидите: все будет хорошо.

Я смутился. Я был не в силах понять, почему же в таком случае они обманывают своего отца насчет сахару, но Франциска перебила меня:

— О, папаша — другое дело! Наш папаша сделался бу́дбето двухлетний малюточка.

Я вскочил на ноги.

— Хорошо, я пойду и скажу.

— И передайте вашей маме от нас—от Франциски и Мальвины— любовь. И, если можно, вот это.

И она схватила с полки красногрудого дятла, сунула его в бумажный мешочек (мешочек был тоже с картинкой) и подала его мне.

Я горячо поблагодарил и ее и Мальвину за то, что они приютили меня, и словно на крыльях помчался домой. Тут только я понял, как тяжко мне было столько времени скрывать от мамы правду.

Но зачем они дали мне этого дятла? Разве может дятел обрадовать маму теперь, когда я буду рассказывать ей о случившемся с нами несчастье?

Глава девятая

ДРАКОНДИДИ

Пока я отдыхал у моих новых друзей, дождь прошел. Небо стало красным, будто там, за тучами, разгорелся пожар. Лужи казались налитыми кровью.

Мне так хотелось рассказать маме о Зюзе, о Тюнтине, о гербе, о Шестиглазом, о Прошке, обо всем, что произошло в эти дни, даже о Фичасе, даже о козле Филимоне, — что я чуть не заплакал от досады, когда увидел, что в комнате одна лишь Маруся. Мамы не было ни на кухне, ни в погребе. Еще так недавно я избегал ее, прятался от нее, а теперь, кажется, отдал бы все на свете, чтобы прижать к ее шершавым рукам свое холодное и мокрое лицо.

Маруся глянула на меня с унылым упреком: существуют же такие жалкие люди, которые целыми днями шатаются бог знает где! Я почувствовал себя виноватым перед ней (это было мое привычное чувство) и спросил еле слышно, где мама.

Маруся, не отрываясь от книги, сказала своим отчетливым голосом, чтобы я не притворялся юродивым, так как мне отлично известно,

что сегодня в полдень дядя Фома уехал к себе в деревню и что мама провожает его до Аккерманской заставы.

Тут я почувствовал себя и вправду преступником. В семье издавна установился обычай, что всякий раз, когда дядя Фома уезжает из нашего дома, мы с мамой провожаем его до Аккерманской заставы, а потом заходим к Длинной Лизе, и Длинная Лиза всегда говорит мне:

— Ой, как ты вырос, невроку!

И убегает в лавчонку и приносит мне серые, засиженные мухами, каменно-твердые мятные пряники, и я, ломая себе челюсти, грызу эти пряники всю дорогу домой.

Длинная Лиза питает к маме благодарные чувства, потому что мама когда-то давно, когда в городе был еврейский погром, спрятала ее в нашем погребе в кадке, которую сверху прикрыла капустой, — эта кадка долго еще существовала у нас и называлась «Лизина кадушка». И вот теперь мама идет с Аккерманской заставы одна, без меня, и дядя Фома уехал, и я не поцеловал его в его усатые губы и даже не видел, какие гостинцы купила ему мама для его жены и детей. Впрочем, гостинцы эти почти всегда одинаковы: полголовы сахару, четверть фунта чаю, липкие конфеты в бумажках под названием «Царские» и голубой или канареечный ситчик, купленный на распродаже у Пташниковых.

Я стоял перед Марусей, жестоко сконфуженный.

— Посмотри, Маруся!

И я показал ей бумажный мешочек с картинкой и вынул оттуда дятла, которого мне подарила Франциска. Только теперь я увидел, какой он красивый. Из глины кирпичного цвета был вылеплен ствол дерева (с корой и сучками), и в этот ствол вцепился обеими лапами дятел и, откинув голову далеко назад, долбил его длинным клювом (сделанным из самого лучшего воска).

— Это мне... это для мамы... подарили...

Но Маруся враждебно взглянула на дятла, будто дятел тоже был виноват перед ней и перед дядей Фомой.

Я ушел на кухню. Меня сильно знобило. Я, должно быть, простудился. Хорошо бы выпить горячего чаю. Я решил пойти за кипятком. В казарме через дорогу был куб. Солдат за копейку нальет мне полный чайник горячей воды. Я нащупал в кармане копейку, взял со стола чайник и вдруг увидал, что под чайником записка. Развернув ее, я прочитал:

«Приходи к Дракондиди. Важное дело. Блохин».

Я схватил пальто и фуражку и выбежал во двор, пригибаясь под окнами, чтобы меня не увидала Маруся.

Я ни разу не бывал у Дракондиди. Дракондиди — тайный гимназический клуб. Все в гимназии знают о существовании этого клуба, но говорят о нем шопотом. Там второгодники Моргулис и Курц пьют водку из бутылок от хлебного кваса. Там пучеглазые братья Бабенчиковы играют в «черного Петьку» и в подкидного осла. Там Степа Бугай всякий раз, когда ему удается похитить у отца трехрублевку, объедается пирожным и мороженым, угощая Зуева и своего брата Володю, второгодника из четвертого класса. Там прячутся от Барбоса «казенщики».

«Казенничать», или «править казну», — это значит околачиваться в каком-нибудь месте (чаще всего в парке или на морском берегу), когда тебе полагается сидеть в своем классе.

Ты, например, не приготовил урока по физике, и тебе грозит единица. Ты берешь ранец и уходишь, как будто в гимназию. Но, пройдя две-три улицы, сворачиваешь в сторону и воровски пробираешься в потаенное место, где проводишь все время учения. А потом приходишь домой дураком и бессовестно лжешь родным. Те казенщики, у которых есть деньги, проводят свои дни у Дракондиди. Там они угощаются, играют в карты, в лото, в домино или спят.

И гимназическое начальство ни разу не накрыло их в этом притоне, хотя бывало, что в день какого-нибудь трудного урока там собиралось их сразу до десяти человек. Они даже заранее сговаривались — завтра с утра всей оравой пойти к Дракондиди.

А однажды тот же Степа Бугай пригласил к Дракондиди весь класс. Случилось это так. Был последний урок — французский. Нужно было читать молитву после учения. Степа Бугай смело вышел вперед и, пользуясь тем, что мсье Лян не понимает по-русски, произнес тем голосом, каким в церкви читают молитвы:

«Аще кто не хощет получить по-гречески кол, да похитит у родителей полтинник и скроется в вертепе Дракон-ди-ди!»

И набожно смотрел на икону и не переставая крестился.

Лян, воображая, что это — молитва, с благоговением потупил глаза, чтобы показать, как он уважает чужую религию.

О Дракондиди мне много рассказывал Муня Блохин, так как он каждую пятницу играл там в шахматы с горбатым реалистом Иглицким.

Клуб помещается в задних комнатах «Заведения искусственных минеральных вод» на Успенской улице, против станции конки.

Я бегу туда с такой поспешностью, будто знаю наверняка, что сто́ит мне добежать — и все мои несчастья кончатся.

Издали сверкает сине-белая вывеска, освещенная языками голубовато-желтого газа: «Искусственные воды и сиропы. Ф. М. Дракондиди», и на вывеске нарисован сифон, из которого веером брызжет вода. Я толкаю дверь и вхожу в магазин. Звонок, приколоченный к двери, дребезжит гораздо громче, чем я ожидал.

Первое, что я вижу: синяя лысина и черная борода Дракондиди. Борода ассирийская, квадратная, крашеная. Из ее чащи выпячиваются маслянистые ярко-пунцовые губы.

Дракондиди стоит за стойкой и чистит мелом ложки. Перед ним — стеклянные колонки с сиропами: ананасный сироп, шоколадный сироп, вишневый, ванильный, малиновый, апельсинный, мандаринный и даже почему-то тюльпанный. Венчает всю эту колоннаду сиропов огненно-красный бумажный букет.

Но где же клуб? Где великолепная тайная комната, о которой так много говорил мне Блохин? За спиной у Дракондиди никакого подобия двери. Гладкая стена. На ней ковер. На ковре афиша:

«Цирк Мануила Герцога. Братья Фернандо и Танти Бадини».

— С сиропом или без? — спрашивает у меня Дракондиди, бросая ложечку в высокий стакан.

— Нет, мне не вода... я — другое... Меня позвал сюда Муня Блохин.

Дракондиди хмурит кустистые брови.

— Как вы говорите? Блохин?

— Из пятого класса. Из пятой гимназии. Муня.

— Блохин — это такая фамилия? Может быть, Сегаль или Шпейер?

— Нет, Блохин... Самуил... Вы его знаете... Муня... Он у вас играет в шахматы с этим... с горбатым. С Иглицким... Я знаю всех, кто бывает у вас: Курца, Моргулиса... обоих Бабенчиковых.

Лысина Дракондиди из синей становится красной.

— Вы сумасшедший, накажи меня бог! У меня тут лимонады и сиропы, а он шукает[1] какого-то Курца с Моргулисом.

Должно быть, я ошибся. Блохин рассказывал мне, что все это «Заведение искусственных минеральных вод» есть лишь одна декорация,

[1] Ищет.



Я вижу кудлатого парня с цыганским лицом, который жарит на керосинке бычков.

а главное — там, за кулисами, в темной комнате с закрытыми ставнями.

Я выхожу на улицу и долго стою под акацией и бессмысленно смотрю на ворота, на которых написано мелом:

«Юзя любит Раю Глузман».

Рядом с Дракондиди помещается конфетная фабрика «Глузман и Ромм», и там внизу, в подвальном этаже этой фабрики, сидят у решетчатых окон сорок или пятьдесят исхудалых девчонок, в страшной тесноте, за длинным и липким столом и, раскачиваясь всем корпусом, при свете двух керосиновых лампочек, с быстротою машины обертывают клейкие карамельки бумажками, на которых написано «Царская Роза. Фабрика Глузман и Ромм». Тут работает Паня Голикова, которая училась когда-то с Марусей в епархиальном училище, но ее исключили из третьего класса, а теперь она ежедневно просиживает в этом подвале по двенадцать-пятнадцать часов, и сын нашего домохозяина Спира Макри говорит, что она скоро умрет, а он хорошо понимает в болезнях, потому что он — студент медицины.

Перегнувшись через жидкие перильца, сделанные из водопроводной трубы, я гляжу в подвальное окно и пытаюсь отыскать Паню Голикову.

Но тут меня окликает Блохин. Я поворачиваю голову. Он стоит рядом со мною и с любопытством заглядывает в то же окно. Я даже не заметил, как он появился у этих перил.

— Муня, — говорю я ему, — должно быть, есть другой Дракондиди?

Но Муня ухмыляется, произносит свое любимое «пфа» и ведет меня обратно в заведение искусственных вод, и кладет на стойку два двугривенных — за меня и за себя, — и Дракондиди, к моему удивлению, здоровается с ним, как с приятелем, и приподнимает ковер, тот самый, к которому прикреплена цирковая афиша, и за ковром я вижу невысокую дверь, обитую рваной клеенкой.

— Осторожно: ступенька! — говорит Дракондиди, обнажая сахарно-белые зубы, и я, как в яму, проваливаюсь в темную полуподвальную комнату, где пахнет дымом, рыбой, уборной, керосином и сыростью.

Когда глаза привыкают к потемкам, я вижу кудлатого парня с цыганским лицом, который жарит на керосинке бычков. По словам Муни, это брат Дракондиди (я уже слышал о нем), глухонемой водопроводчик или слесарь, по имени Жорка. Справа у стены занавеска.

Из-за занавески доносится храп. Где-то поскрипывает жестяной вентилятор. Или, может быть, это льется из крана вода?

Вот он какой, клуб Дракондиди, о котором рассказывали мне столько чудес! Я почему-то был уверен, что тут позолота и бархат, а тут засаленные столы, шелуха от подсолнухов, пыль и — такая вонь.

Мы усаживаемся с Блохиным в дальний угол. По нашему столу пробегает прусак.

Прямо против двери висит лубочный портрет царя — дородного мужчины с большой бородой. Этот царь, Александр Третий, умер два года назад, но его портреты все еще продолжают висеть во всех трактирах, парикмахерских, полицейских участках и школах.

А вот и Бабенчиковы. Справа, у самой стены. Сидят на перевернутом бочонке и тасуют карты, ожидая партнеров.

Глухонемой тотчас же подает нам на черном подносе два стакана мутноватого чаю с солеными бубликами, какие подаются только к пиву.

— Этот Жорка — артист, ой-ой-ой! — говорит, подмигивая, Муня. — Дать ему три папироски, и он проглотит вон того прусака... даже двух...

— При чем тут прусаки? — говорю я с тоскливым упреком. — Ты меня звал... Я пришел... А ты — о прусаках... о папиросах...

Муня смеется.

— Да-да! Мы с Тимошей придумали... То есть придумал Тимоша... Замечательный план!.. Вот увидишь... Сейчас придет Тимоша, он расскажет...

Но улыбка у Блохина невеселая. Или, может быть, просто рассеянная? Разговаривая со мною, он вытянул шею и смотрит не отрываясь в ту сторону, где стоит на табуретке керосинка. Я не заметил, откуда и как подле керосинки появились какие-то трое. Я вглядываюсь в них. Это — наши из шестого класса. Взбудораженные, потные, машут руками и громко говорят все зараз. Бурно обсуждают вчерашнее приключение с кошкой.

— Прямо бунт! — восхищается Муня.

Он знает все подробности «бунта» и рассказывает их мне и двумтрем гимназистам, пересевшим из-за дальних столов.

«Бунт» произошел после того, как Шестиглазый, закончив свою длинную речь, приставил руку ко лбу козырьком и сказал:

— Пусть тот, кто принес эту кошку, сам встанет и признается во всем.

И тогда случилось неожиданное: встали все, как один.

— Вы не поняли, — мягко сказал Шестиглазый. — Кто не принимал в этом деле участия, продолжай сидеть на своем месте. Пусть встанет только тот, кто виноват.

Все продолжали стоять.

Шестиглазый насупился, пошел по рядам и стал тыкать пальцем то в одного, то в другого.

— Ты, Кобецкий... почему ты стоишь? Разве ты виноват?

— Виноват.

— А ты, Канделаки... ты стоишь, почему?

— Потому что это сделал я.

— Но почему же стоит Кондурушкин?

— Это сделал я, — тотчас же заявил Кондурушкин.

Шестиглазый обратился к первому ученику, к Супруненко, и первый ученик Супруненко, глядя ему в глаза ясными своими глазами, твердо сказал:

— Это сделал я.

— А, вы так! — со смехом сказал Шестиглазый.

Он даже как будто обрадовался, что дело приняло такой оборот, и произнес новую, очень красивую речь, угрожая преступникам чуть не Сибирью за бунт. Но преступники продолжали стоять на своем. Тогда он заявил, что дает им сроку до вторника, и, если в течение этого срока они не выдадут своих коноводов, он исключит их всех до одного... и пускай они идут в свинопасы.

«Коноводы» (в тот день я впервые услыхал это слово) собрались теперь здесь, у керосинки, и спорят, и стучат по столу кулаками...

Впрочем, у меня так сильно болит голова (должно быть, от чада и голода), что вскоре я перестаю понимать их.

Одно только чувство сохранилось во мне: жажда поскорее увидеть Тимошу. Мне кажется, что, едва передо мною возникнет его курносое, ушастое лицо, голова у меня сразу перестанет болеть.

Отчего же он не идет? И что он такое придумал, чтобы мне вернули мой герб? И с каким видом войдет он сюда? Веселый или грустный, с нахмуренным лбом? И почему он не пришел с Блохиным?

Тускло светится в темной стене обитая рваной клеенкой дверь. Я с жадностью смотрю на нее и ненавижу каждого человека, который появляется в ней, за то, что этот человек — не Тимоша.

Я знаю, что мое дело пропащее, что, сколько ни думай, все равно ничего не придумаешь, и все же с надеждой гляжу в темноту и

прислушиваюсь к каждому звонку, доносящемуся сверху, из лавки, где сверкает черная борода Дракондиди.

— Муня! Что же вы придумали, Муня? — поминутно пристаю я к Блохину.

— Увидишь, — рассеянно отвечает Блохин, и я с негодованием чувствую, что думает он о другом. Такой уж у него непостоянный и суетливый характер!

В самый разгар перебранки с двумя «коноводами» он убегает к стене против двери и под портретом царя играет с каким-то черномазым в орлянку.

Потом долго ищет на грязном полу закатившийся гривенник.

Потом садится на корточки и рассматривает уродливые фотографии «алжирских красавиц», которые при свете керосинки глухонемой показывает братьям Бабенчиковым.

Потом подходит к столику, где объедаются шоколадной халвой Володька и Степа Бугай, и, дирижируя бубликом, поет вместе с ними свирепую песню о нашем надзирателе Галикине (он же Барбос):

У Галикина — колит;
У него живот болит!
Это очень, это очень,
Это очень хорошо,
За-ме-ча-тель-но!

Потом подбегает к Зенкевичу, собирателю марок, и меняет у него Кубу на Яву.

Нет такого человека, мимо которого он мог бы пройти, не затеяв с ним игры или дела. Он нужен каждому, и каждый — ему.

Во всей этой толпе только и слышно:

— Мунька! Муня! Блохин! Самуил!

И скоро мне начинает казаться, что в комнате не один Блохин, а пять или шесть.

Он подбегает даже к восьмикласснику Мейеру и предлагает ему билет в лотерею:

— Разыгрывается знаменитая книга! «Ожерелье королевы» Дюма! Четыреста двадцать страниц!

Но Спиноза даже не поднимает бровей. Он умеет не замечать окружающих.

Он сидит у Дракондиди, как сидел бы у себя в кабинете. На столе перед ним разложено полдесятка брошюр. Он читает их все сразу,

близоруко заглядывая то в одну, то в другую. И при этом чуть-чуть раскачивается и самодовольно мурлычет. У него есть способность превращать всякое место, куда бы он ни попал, в ученый кабинет или в читальню. Тимоша рассказывал мне, что он видел однажды, как Спиноза читал свои книги под крылом у мраморного ангела, взгромоздясь на какой-то кладбищенский памятник. Верно ли это, не знаю. Но это похоже на правду. Потому что прошлым летом я наткнулся на Спинозу за вокзалом, у Чумной горы. Он сидел на страшном солнцепеке и с обычной своей профессорской важностью перелистывал какой-то журнал, даже не отмахиваясь от ос и слепней.

Вот подошел к нему Иглицкий, высоколобый горбун, единственный его друг и приятель. Странная у него дружба с Иглицким: чуть они встретятся, тотчас же начинают говорить о непонятных вещах, сначала благодушно и мирно, потом глаза у них краснеют от злобы и оба начинают ругаться.

— Слизняк! Спенсерист! Постепеновец! — кричит дискантом Иглицкий.

— Робеспьерик! — с тихим презрением отвечает Спиноза. — Нужно быть дегенератом, чтобы думать, что предпосылкой революционного действия...

В другое время я с уважением вслушивался бы в эту ученую ругань, но сегодня от ее непонятности у меня еще сильнее болит голова.

На спорщиков никто не обращает внимания. Все заняты другими делами. Один только юркий Жорка вьется вокруг стола. Если бы я не знал, что он глух, я подумал бы, что он подслушивает, — такое внимательно-хитрое выражение у него на лице.

Мне становится хуже. По всем моим внутренностям проходит отвратительной волной тошнота.

Я не знаю, ночь на дворе или день, лето ли, зима ли. Мне кажется, что я уже целые годы сижу в этой вонючей дыре и умру, не дождавшись Тимоши.

Мне кажется, что, чуть я увижу его веснущатое, милое лицо с единственными в мире ушами, растопыренными до последней возможности, меня перестанет мутить.

— Где Тимоша? — говорю я Блохину.

Но он не слышит, он примостился к соседнему столику и играет в шахматы с горбатым Иглицким.

Мейер снова самодовольно мурлычет над своими брошюрами.

Глава десятая

НЕЧАЯННАЯ ВСТРЕЧА

Удивительную кличку мы дали Тимоше в гимназии. Мы называли его: «У меня инда сердце трепещет».

Кличку эту получил он давно, еще в первом классе, когда в старом здании, на Пушкинской, случился пожар. Тимоша был тогда новичок. Он только что приехал из Архангельска.

Увидев горящие стены соседнего класса, он побледнел и сказал:

— У м-м-меня инда сердце т-трепещет. (И даже не «трепещет», а «тряпещет».)

И мы, несмотря на испуг, рассмеялись: таким необычным показалось нам это «инда» и это «тряпещет». С тех пор мы так и прозвали его.

Всем своим «тряпещущим» сердцем он привязался ко мне. Почему привязался — невозможно понять. Мы с ним были очень разные. У него была собственная шлюпка — «Дельфин». Он мечтал о том, чтобы сделаться штурманом дальнего плавания. На балконе у него стоял небольшой телескоп, от которого он не отрывался часами. Я же был кропателем стихов и мечтал создать «Гимназиаду», большую поэму, написанную размером «Онегина».

И хотя я охотно рассматривал в его телескоп всевозможные небесные туманности, но отдал бы их все до одной за четыре строчки из «Медного всадника». Начиная с прошлого лета я стал жадным глотателем книг. Бывало целые недели ничего не читаю, а потом раздобуду у Муни сочинения Писемского, заберусь с ними к себе в каламашку и прочту подряд все двенадцать томов. А потом опять ничего не читаю. А через несколько дней снова лежу в каламашке, окруженный романами Диккенса, сотрясающими всю мою душу восторгом, и то хохочу, то реву. Но кончился Диккенс, и я опять ничего не читаю.

Тимоше эти книги не нравились. Он любил лишь ту литературу, где говорилось о морских путешествиях. Величайшей его страстью была шлюпка «Дельфин». Ради шлюпки он забывал даже о своем телескопе. У шлюпки были пальмовые (очень гибкие) весла. Тимоша научился грести щегольски, по-военному, четко поворачивая весла в уключинах перед тем, как закинуть их далеко назад.

Вначале он брал в свою шлюпку меня, но в море мы страшно ссорились. Ему хотелось воображать себя капитаном военного судна,

и он требовал, чтобы на каждое его приказание я отвечал ему: «Есть, капитан!» Ему казалось, что в лодке нельзя ни разговаривать, ни петь, ни смеяться, а можно только вглядываться в горизонт и покрикивать: «Подними трюмселя!.. Застопори штирборт!.. Распусти грот-брамсель!» и т. д.

Я же хотел чувствовать себя в лодке привольно, лежать на корме, грызть арбузные семечки и поплевывать в воду. Это неуважение к лодке возмущало его до неистовства. Греб я по-простецки, без всяких военных приемов, и он нередко вырывал у меня весла из рук, так как и здесь ему чудилась какая-то обида для лодки.

Но даже это не могло помешать нашей дружбе: чуть мы выходили на берег, Тимоша становился прежним уступчивым и беззлобным Тимошей. Всегда, при малейшей возможности, он провожал меня до самого дома и с неизменной почтительностью выслушивал от меня по дороге новые стихи «Гимназиады». Старые он знал наизусть... Никогда не изливал он передо мной своих дружеских чувств, но бледнел от волнения, когда меня вызывали к доске, и весь расцветал, если меня хвалили за удачный ответ. Он подарил мне свою любимую белую крысу и «Всадника без головы» Майн-Рида...

— Сюда! Сюда! «У меня инда сердце трепещет»! — вдруг вскрикивает Муня Блохин и бросается к двери, где на высоких ступеньках стоит, растерянно щурясь, Тимоша.

Я тоже бегу к нему. Оказывается, его долго не пускал Дракондиди, и он чуть не силой ворвался сюда. Его крепкозубый рот улыбается мне, как всегда, но глаза его тоскливы и тревожны. Русые волосы потемнели от пота.

— Ну, Тимоша, говори же, говори!

— Айда за занавеску! — предлагает Блохин.

Мы идем за занавеску. Там никого нет. Только на длинной скамье растянулся какой-то пьяный. Голова его, прикрытая шинелью, лежит на сундуке, к которому примыкает скамья. Тут же, на сундуке, стоит сильно оплывшая свечка. Рядом пустой полуштоф.

Похоже, что спящий задался единственной целью: щегольнуть перед слушателями всем разнообразием храпов, какие только есть в его горле. Он храпит то нежно, то взрывчато, то со свистом, то с рокотом, то даже с каким-то чириканьем, а теперь так четко и спокойно произносит после каждой своей трели слово «пухxx».

За занавеской Тимоша садится в изнеможении на край сундука и начинает подробно рассказывать все, что он делал с утра, чтобы

выручить меня из беды. Ум у него очень медлительный. Его рассказы всегда изобилуют такими подробностями, которые слушателям кажутся лишними, и теперь он начинает издалека, с нашего Гришки Зуева, и даже не с него, а с его матери. Оказывается, вчера вечером он, Тимоша, просил своего отца похлопотать обо мне у Мелетия. Ведь оба они земляки и знакомы лет двадцать. Но отец только рявкнул в ответ. Тимоша был в отчаянии, но тут ему кто-то сказал, что мать Зуева, чудовищно толстая женщина, знаменитая городская гадалка, владелица бань и «заезжих дворов», хорошо знакома с нашим усачом Симоненкой, а Симоненко — закадычный приятель попа.

Тимоша пространно рассказывает, как он с Гришкой Зуевым ходил к Симоненко, а потом с Симоненкой к попу на Преображенскую улицу, и какой у попа разноцветный стеклянный балкон, и какою поп угощал их пастилой и балабухой [1], и какую показывал им панораму.

— Все, понимаешь ли, шло хорошо, но чуть только поп услыхал, что дело идет о тебе, он зафыркал на Симоненку, как кот на ежа, и даже заткнул себе уши. Симоненко давеча получил от меня безбандерольного табаку из отцовской таможни и потому упрашивал попа христом-богом, чтобы он не придирался к тебе, но тот заявил наотрез, что другого он, пожалуй, простил бы...

— А меня?

— Ни за что!

— Почему же?

Тимоша краснеет и потупляет глаза. Ему стыдно повторить слова Мелетия. Я догадываюсь в ту же секунду: Мелетий сказал ему что-то такое, что связано с моей проклятой тайной! Что-то нехорошее и стыдное. Я вижу это по Тимошиным глазам и уже ни о чем не расспрашиваю. Мне уже все — все равно. Меня бьет лихорадка. Бедная моя мама!.. Скорей бы на воздух! Все лицо мое в холодном поту. И на что я надеялся, когда под весенними звездами бежал сюда по Маразлиевской улице?

Дальше Тимоша подробно рассказывает, как он вместе с Лёкой Курындиной бегал хлопотать обо мне к Зюзе Козельскому, к Тюнтиной и даже на Пересыпь к Финти-Монти.

— К Финти-Монти?

— Но не застал его дома... Ушел, говорят, из квартиры и где-то, понимаешь, пропал. Еще со вчерашнего дня.

— Финти-Монти, — перебивает Блохин, — был сегодня у нашего

---

[1] Балабуха — киевское сухое варенье.

Василия Никитича... Ну уж и ругали они Шестиглазого! И Прошку и Мелетия — всех! Оказывается, Прошка, красноносая тля, донес попечителю Люстиху, что у Василия Никитича происходят «незаконные сборища». Люстих вызвал Василия Никитича к себе в кабинет и жучил его часа два: «Вы, — говорит, — свои путешествия бросьте. А то как бы вам не пропутешествовать куда-нибудь в тундру».

Обо всем этом рассказывал Муне сам Василий Никитич. Муня уже несколько лет живет у него на квартире.

— Что же мне теперь делать? — говорю я Тимоше.

— Не знаю! — растерянно отвечает Тимоша и смотрит на меня с такой жалостью, словно я больной или мертвый.

Мне кажется, что он сейчас заплачет. Я рассказываю ему все, что случилось со мной сегодня, — и про Тюнтина, и про Мальвину, и про Зюзю Козельского.

И вдруг из-под шинели, которой укрыт с головой лежащий на скамье человек, вылетают одно за другим знакомые, теплые, родные слова:

— Мазепы! Свистуны! Горлопаны! Финти-монти! Рваные пантуфли! Алеуты! Куроцапы! Жуки на заборе!

Мы вскакиваем, точно в комнате разорвался снаряд. Финти-Монти! Милый Финти-Монти! Неужели он здесь, в этой вони и мерзости?

Финти-Монти приподнимается, медленно и грузно садится, смотрит на нас крохотными медвежьими глазками, гладит свои длинные, как у Бульбы, усы и говорит спокойно, с ленивой насмешливостью:

— Ерундистика! Собачья брехня!

И опять надолго замолкает, словно раздумывая, спать ли ему дальше, или проснуться совсем. И, видимо, решает: спать. И тянет кверху свою худую шинель, чтобы опять укрыться с головой.

Мы все еще не можем опомниться. Мы привыкли видеть Ивана Митрофаныча в классе, во время урока, на кафедре. Там он казался нам высшим существом, всемогущим, всезнающим. И вот он валяется тут, под землею, в этом душном и вонючем подвале, на каком-то грязном тряпье.

— Здравствуйте, Иван Митрофаныч!

— Здорово, богадельня! — говорит он сердито и смотрит на нас непонимающим взглядом.

Потом зевает, садится, сбрасывает с себя шинель и, к моему изумлению, быстро хватает меня за кушак.

— Ты думаешь, куриная ты слепота, — говорит он, притягивая

меня к своему сундуку, — ты думаешь, тебя прогнали за то, что ты накуролесил с попом или с этим... как его? с Зюзей Козельским? Вздор и собачья брехня!

Он отталкивает меня и снова притягивает с грубоватой, медвежьей ласковостью.

— Не за то тебя гонят, что ты виноват, а за то, что ты — курносый Гнилокишкин. За то, что ты — черная кость. В этом вся твоя вина. Понимаешь? Шестиглазому велено выкинуть из гимназии десятка полтора Гнилокишкиных, вот он и врет на тебя, как на мертвого, чтобы было ловчей тебя выгнать. Все же как-то совестно сказать человеку: «Лишаем тебя права учиться за то, что у тебя мать судомойка». Гораздо удобнее набрехать на тебя, будто ты такой негодяй, что от тебя нужно очистить гимназию, как бы ты не заразил остальных... Он уж нацелился выкинуть на улицу семь человек: тебя, Чумакова, Глушкова, Яковенко, Христопуло и тех из шестого класса. Уж он найдет у вас болячки, будь покоен. Ему приказано, он и старается.

— Но кем же приказано, Иван Митрофаныч? — спрашивает, как на уроке, Блохин.

— А вон он висит, храпоидол!

И Финти-Монти тычет пальцем из-за занавески в висящий на далекой стене глянцовитый портрет царя.

— Все из-за него, толстопятого!

Я гляжу на Финти-Монти с удивлением.

Царь Александр Третий умер всего два года назад. Я был тогда в третьем классе и помню: чуть только в гимназии узнали о его смерти, Шестиглазый, Прохор Евгеньевич и поп стали взапуски расхваливать его и так хныкали о нем на панихидах и так часто повторяли, колотя себя в грудь, какой он был мудрый, благородный и добрый, что в конце концов я поверил их «собачьей брехне» и тоже огорчился, что он умер. Художники изображали царя на портретах таким простодушным и ласковым. Как же можно говорить про него, будто он — храпоидол, будто он приказывает делать жестокости и выбрасывать из школы ни в чем не повинных ребят, не позволяя им кончить ученье?..

Да и зачем ему нужно, чтобы мы росли дураками? Ведь если из всех гимназий сейчас будут выгнаны сотни детей, в России будет меньше ученых, меньше инженеров, докторов.

— А зачем же ему... — начал я, но сконфузился и на полуслове умолк.

Я хотел спросить, какая радость царю, если мы, «Гнилокишкины», навеки останемся неучами.

Иван Митрофаныч угадал мой вопрос и, снова притянув меня к себе за кушак, прошептал очень громко и внятно:

— А скажи, пожалуйста, на что ему нужно, чтобы из тебя вышел студент? Какая ему будет из этого польза? Богатые студенты — они не пойдут бунтовать, а которые бедные, да еще из простых — ого-го! Надо же ему спасать свою шкуру!

Сердце у меня застучало. Значит, незачем мне и оправдываться перед всеми этими Шестиглазыми и Прошками. Все равно они решили меня погубить! Значит, зря я надеялся на Тюнтина, на Мелетия, на Зюзю Козельского. Шестиглазый нарочно взваливает на меня чужую вину, чтобы ему удобнее было отнять у меня мое право учиться.

Дело, оказывается, вовсе не в том, нагрубил ли я попу и Шестиглазому, подучил ли я Козельского закопать в землю дневник. Все это вздор. Главное в том, что у мамы моей нет ни такого дома, как у «вдовы подполковника» Тюнтиной, ни таких бань и трактиров, как у матери Зуева, ни такой лавки, как у братьев Бабенчиковых, ни такой аптеки, как у Сигизмунда Козельского. У нее нет ничего, кроме красных от стирки рук. Оттого-то и решено не допускать меня до университетской скамьи. А тут еще моя проклятая тайна!..

Сиплым, усталым голосом Иван Митрофаныч рассказывает мне и Тимоше (непоседливый Муня то убегает куда-то, то возвращается вновь) о так называемых «кухаркиных детях». Лет семь или восемь назад министр народного просвещения Делянов напечатал сердитый приказ, требуя, чтобы не допускали в гимназию детей лакеев, прачек, мастеровых, кучеров...

Но дальше я уже ничего не слыхал: голова у меня вдруг закружилась, будто я попал на карусель, и Финти-Монти, и глухонемой, и занавеска, и свечка, и Тимоша, и Муня поплыли передо мною по широкому кругу и сразу точно провалились куда-то. Я сел на что-то железное, и мне опять показалось, что я сию минуту умру. Долго ли я сидел, не знаю. Голос Финти-Монти звучал для меня словно из далекого погреба. Да и то до моего слуха долетали одни лишь ругательства: «Канальи! Хамельоны! Компрачикосы! Шуты!»

Когда я очнулся, вокруг сундука, на котором сидел Финти-Монти, собралась толпа гимназистов. Должно быть, они сбежались сюда из-за всех столиков. Тимоша спал, приткнувшись к сундуку, и лицо у него было бледное, словно у мертвого. Должно быть, за сегодня он

очень устал. Иван Митрофаныч, возбужденный, с расстегнутым воротом, кричал Блохину, указывая пальцем на Жорку:

— Ты думаешь: он глухонемой? О-го-го! Он слышит не хуже тебя и отлично говорит, когда требуется. Шныряет тут между столами, как бес. А потом бежит и доносит начальству. Собственный шпион его сиятельства Люстиха!

Жорка не мигая глядел на него, словно и в самом деле ничего не слыхал. И вдруг нырнул в толпу и стал протискиваться к задним рядам.

— Куда же ты, Иуда? Погоди-ка минутку! — крикнул ему Иван Митрофаныч. — Успеешь еще доложить Шестиглазому, что я называл его подлецом и хабарником. Лучше воротись и скажи нам по совести: сколько заплатили тебе за Иосифа Клемма?

Иосиф Клемм, семиклассник, долговязый и хилый, был в прошлом году исключен из гимназии за то, что как-то вечером собрал у Дракондиди человек семь или восемь товарищей и стал тайно читать им запрещенный роман Чернышевского (тут же за занавеской, на этом самом сундуке). Кто мог донести на него? Кроме «глухонемого», никто из посторонних не слыхал этого тайного чтения.

«Глухонемой» со злобой посмотрел на Ивана Митрофаныча и уже открыл было рот, чтобы ответить ему, но во-время спохватился и замычал, как дурак. В толпе показалась черная борода Дракондиди.

И опять словно большая карусель унесла меня прочь по широкому кругу.

— Муня, уйдем! — сказал я.

Но Муня был так потрясен неожиданным разоблачением предательства Жорки, что отмахнулся от меня, как от мухи.

Я с трудом встал на ноги и направился к двери — к той, которая вела в заведение искусственных вод.

— Не сюда! — крикнул мне Муня и, догнав меня, вывел в глухой коридор, которого я до той поры не видал, так как он был у меня за спиной.

В конце коридора открылась обитая войлоком дверь, и я попал в какой-то не то сарай, не то погреб. Оттуда я (как из гнилого колодца) выбрался в темный, пахнущий молоком и коровами двор. С радостью вдыхая свежий воздух, я увидел темносинее небо, луну, силуэт голубятни и какую-то женщину, которая кинулась ко мне из-за темной стены.

— Мама!

Глава одиннадцатая

ЛУННОЮ НОЧЬЮ

Появление мамы у дверей Дракондиди в первую минуту показалось мне чудом. Но разгадка этого чуда была очень проста.

Вечером, убегая из дому, я, оказывается, забыл на столе ту записку, которую сегодня поутру написал мне Блохин: «Приходи к Дракондиди. Важное дело».

Что за Дракондиди, ни мама, ни Маруся не знали. Но в сумерках пришел Циндилиндер, прочитал записку, ухмыльнулся и повел встревоженную маму по Успенской улице к «Заведению искусственных вод». В клуб ее, конечно, не пустили. Циндилиндер, бывавший в этой трущобе не раз, взял маму за рукав и повел ее темными задворками к дряхлым, подслеповатым лачугам, среди которых возвышалась голубятня.

В двух шагах от голубятни стоял кособокий сарай, очень низкий, наполовину провалившийся в землю. Его лохматая от рваного войлока дверь служила единственным выходом из подземного клуба.

Ночь была лунная. От голубятни падала черная тень. В этой тени встала мама, молчаливая и неподвижная, как памятник. Циндилиндер заюлил у нее за спиной, предлагая ей сесть на какие-то бревна. Но она будто не слыхала его.

Я забыл сказать, что незадолго до этого с Циндилиндером случилось большое событие: он влюбился в оранжево-рыжую Цылю, обверточницу с фабрики Глу́змана и Ромма, и дал ей слово никогда не заниматься своей «специальностью» (так называлось у него воровство). Мама давно советовала ему «учиться на токаря» в мебельной мастерской А. Э. Кайзера, на углу Канатной и Новой. Теперь он поступил туда в учение, и его стали звать уже не Циндилиндер, но — Изя. Изя Шнейдер. И он обижался, если кто звал его, как прежде, Циндилиндером.

С той поры мы еще сильнее привязались к нему. Каждое воскресенье он приходил к нам с утра, наполнял нашу бочку водой, чистил для мамы к обеду бураки и картошку, развешивал вместе с Маланкой на «горище» белье, бегал для Маруси за книгами в «Библиотеку евреев-приказчиков».

Он был старше меня на семь лет, но принимал живейшее участие в нашей неравной борьбе с хацкелятами. Огромное было для меня удовольствие ходить с ним спозаранку на базар — за скумбрией,

помидорами, бубликами, черешнями. Идем бывало домой утомленные, останавливаемся отдохнуть возле дома мадам Чумаченко, и вдруг он говорит улыбаясь:

— Эти торговки такие раззявы!

И вытряхивает из рукава слипшийся ком чернослива.

Я гляжу на него с возмущением:

— Изя! Ты же говорил! Ты дал слово... и маме и Цыле... Как тебе не стыдно, Изя, Изя!

— Так разве ж это воровство? — улыбается он и достает из-за пазухи горсть мушмалы, моченое яблоко, огурец, карамельку. — И разве тебе не хочется моченого яблока?

Мне совестно признаться: украденные Циндилиндером лакомства были для меня так привлекательны, что я охотно соглашался не считать их украденными и съедал без зазрения совести и мушмалу, и чернослив, и моченое яблоко. Но оранжево-рыжая Цыля оказалась бескорыстнее и строже меня. Когда Циндилиндер похитил для нее на базаре любимые ею каштаны, она отшвырнула их так, словно это были раскаленные уголья, и заявила, что не желает водиться с таким «неизлечимым мазуриком».

С тех пор, прогуливаясь между ларьками в воскресные дни, Циндилиндер перестал похищать даже тыквенные и арбузные семечки у полоумной старухи Марьянки, у которой даже семилетние дети, то и дело налетавшие на нее воробьиными стаями, беспрепятственно опустошали всю корзину. Забавно было смотреть, с каким трудом он удерживает свои ловкие руки от похищения плохо лежащих сластей и как, стянув нечаянно огурец или луковицу, он произносит ругательство и кидает их обратно в мешок продавца.

Но все это кончилось в прошлом году. Теперь даже у седого трубача Симоненко честность Циндилиндера не вызывает сомнений.

Как верный и преданный друг он привел встревоженную маму в незнакомый двор к потаенной двери Дракондиди и оставил ее в тени голубятни, а сам присел и закурил в отдалении, не смея заговаривать с нею.

Мама удивила меня своей молчаливостью.

Она не сказала мне ни слова упрека, не назвала меня ни негодяем, ни бродягой, ни лодырем (как любила называть меня Маруся); она тихо взяла меня за руку, и мы неторопливо пошли под луной мимо хибарок и коровьих сараев. Как мне было стыдно перед нею! Сейчас, через три или четыре минуты, она узнает всю правду: что я

обманывал ее все эти дни, увиливал от нее и скрывался, что никогда не бывать мне ни инженером, ни доктором, что фуражка моя без герба, что те большие деньги, которые из году в год она платила за мое обучение в гимназии — и за тетради, и за книги, и за ранец с мохнатой покрышкой, и за круглый пенал, и за гимназический мундир с великолепными пуговицами, — что все эти деньги, добытые тяжелым трудом, пропали без всякой пользы, истрачены зря, все равно что брошены в огонь.

Я шагаю с нею рядом, согнувшись и всхлипывая. Вот и наша квартира. Маруся давно уже спит. Я дрожу, как от сильной простуды, и продолжаю бормотать оправдания, хотя никто не обвиняет меня.

— Я, ей-богу... Ты не знаешь... Даю тебе честное слово... Это не я... Это Тюнтин... Да еще Мелетий... ей-богу.

Мама слушает этот отрывистый вздор и молчит. И вдруг произносит отчетливо:

— Знаю... Давно уже знаю...

— Знаешь?!

Сердце у меня обрывается.

— Со вчерашнего дня. С утра. Вчера утром пришла из гимназии бумага... Рано утром. В субботу... при дяде Фоме...

Значит, напрасно я убегал от нее, напрасно притворялся, будто ничего не случилось! Как раз в то время, когда я сидел в своем классе и прятался за спиной Блохина, она уже знала, что произошла катастрофа. Но ни слова не сказала ни дяде Фоме, ни Марусе. И теперь так спокойно достает из-за припечка аккуратно сложенную большую бумагу и подает ее мне. Бумага плотная, белая, гладкая, и на ней написано красивейшим почерком:

> «Педагогический совет пятой гимназии извещает вас, милостивая государыня, что, по постановлению совета, сын ваш такой-то исключен из пятого класса за малоуспешность в науках и вредное влияние на учащихся. Благоволите пожаловать такого-то числа в канцелярию гимназии для получения документов вашего уволенного сына такого-то.
>
> Примите, милостивая государыня, уверения в совершенном почтении и преданности.
>
> *Директор А. Бурмейстер».*

Для меня эта бумага — смертный приговор. А мама (это так странно) спокойна. Стоит и смотрит на меня пустыми глазами. Хоть бы

крикнула или заплакала. В ее оцепенении есть что-то пугающее. Я хватаю ее холодные, точно мертвые руки и повторяю с отчаянием:

— Ну, не надо! Ну, пожалуйста! Ну, будь так добра! Ну, прости!.. Ну, не сердись!.. Ну, не надо!

Мама хочет что-то сказать мне в ответ, но губы у нее шевелятся, а звуков не слышно, как будто она онемела.

— Мама! — говорю я в испуге.

Она попрежнему продолжает шептать какие-то неслышные слова. Мне страшно смотреть, как быстро открываются и закрываются ее беззвучные губы.

— Мама, мама! — кричу я и дергаю ее за рукав. — Что же ты хочешь сказать?

И вдруг лицо у нее покрывается красными пятнами, она вскрикивает и бросается ко мне вся в слезах и с такой силой обнимает меня, что мне становится больно, и наконец произносит то слово, которое ее губы так долго не могли произнести.

Слово это кажется мне чудовищно диким.

— Прости меня!.. Прости меня!.. Прости меня!..

— Мама, что ты говоришь?! — кричу я.

— Это я, а не ты, это я... это я... это я виновата во всем.

И она целует меня неуклюже и жадно — в уши, в брови, в подбородок, в глаза — и, целуя, без конца повторяет:

— Прости меня!.. Прости меня!.. Прости меня!..

— Мама! — говорю я с испугом. — Не надо!

Но она ладонью зажимает мне рот.

А потом мы оба затихаем и долго сидим, обнявшись, на большом кухонном топчане. Лампочка начинает чадить и понемногу гаснет. Но от этого становится как будто светлее: вся кухня наполняется сиянием луны. Мама грудным и взволнованным голосом, какого я никогда у нее не слыхал, рассказывает мне о себе, о своей жизни, о моем отце (о котором никогда не говорила ни слова) и наконец умолкает. Мне становится так хорошо, словно на свете никогда не бывало ни Мелетия, ни Шестиглазого, ни попечителя Люстиха, ни Прошки. Я кладу голову маме в колени и, тихо гладя ее руки, засыпаю.

Глава двенадцатая

ТАЙНА

На следующий день оказалось, что мы оба больны: я и мама.

Я, должно быть, простудился вчера: весь день проблуждал под дождем без пальто и фуражки. У меня кашель и жар. А у мамы началась мигрень. Голова ее туго обмотана большим полотенцем, которое Маруся каждый час погружает в умывальную чашку, доверху налитую уксусом.

Запах уксуса проник даже в «гостиную» и примешивается ко всем моим мыслям.

Впрочем, на четвертый день, как это бывало и раньше, мама встала с постели — зеленая, с почернелыми веками — и тотчас взялась за утюг. Я же провалялся еще три недели и, так как мне никто не мешал, целыми днями неугомонно раздумывал о случившейся с нами беде.

Больше всего поразило меня то, что рассказала мне мама в ту лунную ночь, когда в лампочке выгорел весь керосин и мы сидели до рассвета обнявшись.

Оказывается, недаром просила у меня мама прощения. Она и в самом деле считала себя чуть не преступницей. И все соседи, за исключением двух-трех, смотрели на нее, как на виноватую. Считалось, что смолоду она совершила нехороший поступок, который лег на нее черным пятном. И потому все от нее отворачивались. Хотя в нашем дворе было много жильцов, о которых говорили плохое, всё же соседи относились к ним не с такою суровостью. Был Симка Констанди, избивавший до полусмерти свою чахлую, хромую жену. Была вечно пьяная старуха Сутугина, вдова кочегара, ругавшаяся не хуже биндюжника. Был козлобородый прохвост Лев Субботский, владелец галантерейной лавчонки, в которой он вместе с отцом Вальки Тюнтина нарочно устроил пожар, чтобы получить от страхового общества премию. Это были презренные люди, но, насколько я помню, у всех у них были свои друзья и сторонники, водившие с ними компанию. Мама же в густо населенном дворе жила, как в безлюдной пустыне. Считалось, что она даже хуже Субботского, которого то и дело сажали в острог за мошенничество. Оттого-то мама проходила по двору такой гордой походкой, ни на кого не глядя, не вступая в разговор даже с теми, кто относился к ней лучше других.

Должно быть, преступление, совершенное ею, было огромно,

если ей приходилось так тяжко расплачиваться за него в течение всей своей жизни.

Тут же, в постели, во время болезни, мне припомнился один удивительный случай, когда я впервые понял, что мама у меня не такая, как у прочих детей. Мне было лет семь, не больше. Мама тогда только что принималась за стирку чужого белья, и эта работа удручала ее, главное, тем, что в квартире у нее не было крана. Воду приходилось приносить издалека, и так как помощников у мамы тогда еще не было, эта работа отнимала у нее все ее силы.

Но как-то летом прибежала востроносая швейка, по прозванию Дзыга, и сказала маме, что скоро мамина каторга кончится, так как на Куликовом поле, наискосок от вокзала, строятся будто бы квартиры для бедных, и в каждой будет свой собственный кран.

Мама не поверила:

— Вздор!

В те времена краны бывали только в богатых квартирах, а беднота бегала за водой по дворам.

Но Дзыга клялась и божилась:

— Я знаю от самого Карабубина!

Дзыга была ходячей газетой, переполненной новостями и сплетнями, так как она работала во многих семействах, кочуя из дома в дом.

Приходила она, в сущности, к Марусе, которая вечно писала для нее по письмовнику любовные письма. У Маруси был четкий, каллиграфический почерк.

На следующий день Дзыга прибежала опять и повела маму к самому Карабубину.

Карабубин был важная шишка: от него зависело распределение квартир. Был он бойкий, франтоватый и потрясающе вежливый. Казалось, во рту у него триста зубов, и все эти триста зубов приветливо сверкнули на маму, когда мама подавала ему написанное Марусей прошение, чтобы нам предоставили в новом доме квартиру.

Изо рта у Карабубина вылетали одни лишь приятности:

— Как же! Как же! Еще бы! Пожалуйста!

Маму даже испугала эта чрезмерная вежливость. Дзыга же пришла от нее в восхищение:

— Он хоть и плут, но золотая душа!

В семье Карабубиных Дзыга состояла придворной швеей. Кажется, она была чуть-чуть влюблена в Карабубина.



Тю-тю-тю! Что же вы суетесь к нам с такими... пейзажами?

Он тотчас же повел нас на постройку и, рассыпаясь перед мамой в любезностях, показал нам одну из квартир, почти готовую, номер девяносто четвертый, и мы сразу полюбили ее.

Главное: в кухне был кран!

Дзыга отвернула его, и из крана хлынула еще рыжая, молодая вода.

Мама тихо сказала:

— Раковина!

И засмеялась от радости.

Под краном была раковина — сказочная роскошь, легендарный комфорт. Значит, маме во время стирки уже не придется каждые полчаса выбегать на помойку, чтобы вылить из лохани загрязненную воду.

Мама, улыбаясь, пошла по квартире.

— Здесь будет стол... Здесь Марусина полка...

Все лето мы бегали на «нашу постройку».

— Уже красят полы! Уже привинчивают ручки к дверям!

Вот и 6 августа. Квартира готова. Мама подрядила сумасшедшего Беньку перевезти на новоселье нашу мебель. Он пришел еще до рассвета с тележкой, уселся на ступеньках и ждет.

— Мы сейчас вернемся, — говорит ему мама, берет зонтик, и мы идем к Карабубину.

Нужно для какой-то формальности представить Карабубину паспорт, и он сейчас же — золотая душа! — выдаст нам ключ от девяносто четвертого номера.

Зубы Карабубина сверкают во-всю. Кажется, их уже не триста, а тысяча. Рядом с ним сидит седая женщина, вся в трауре, похожая на похоронную лошадь.

Мама подает ему паспорт, иссиня-белую большую бумагу.

Он надевает пенсне, и вдруг его челюсти звонко захлопываются. Он говорит неожиданно пронзительным голосом:

— Тю-тю-тю! Что же вы суетесь к нам с такими... пейзажами? Слава богу, не маленькая. Сами должны понимать... Вам в нашем доме не место!

— Но ведь вы обещали...

— Мало ли что! Разве я знал...

И брезгливыми пальцами, словно опасаясь запачкаться, возвращает маме ее паспорт, и через секунду его зубы уже сверкают кому-то другому:

— Пожалуйста! Как же! Еще бы!

Мама моя была величавая женщина. Она ни слова не сказала Карабубину, взяла у него паспорт и вышла из комнаты.

Но она шла, как слепая, она стонала, как раненая, когда я вел ее вдоль длинной казармы домой.

Вот какой страшный был у мамы паспорт: едва только человек поглядел на него, он сейчас же перестал улыбаться и грубо прогнал ее прочь. Что же написано в этой синеватой бумаге? Вероятно, в ней говорится о том, что таким преступницам, как мама, не может быть места в светлых, выкрашенных масляной краской квартирах со сверкающими медными кранами.

Как в могилу, вернулась мама в старое, постылое жилье. Села на узел со скарбом, да так и просидела часа два, не шелохнувшись. У нее нехватало духу отпустить сумасшедшего Беньку, который разлегся на своей тележке и ждал, скоро ли его позовут выносить из квартиры вещи. Вещи все были упакованы, и нам так не хотелось распаковывать их на старой квартире!

— С новосельем! — смеялись соседи.

Старую квартиру мы невзлюбили еще сильнее, чем прежде. Главное, как я уже не раз говорил, она была построена над погребом, а зимою из погреба дует. Сколько ни топи, через час уже холодно. Но, видно, мама не заслужила того, чтобы жить, как другие, веселой и легкой человеческой жизнью.

Словом, уже тогда, семилетним ребенком, я начинал догадываться, что мы хуже других, что в нашей жизни есть что-то стыдное, какая-то позорная тайна.

Произошел еще один случай, — кажется, через год после этого.

Как-то в жаркое летнее утро (мне было тогда не больше восьми) мама взяла меня к морю. На берегу, на иссиня-серой гальке, она, выходя из воды, познакомилась с одной петербургской барыней — Цветаевой или Цветковой, не помню, — приехавшей лечиться морскими купаниями.

Цветкова была из породы восторженных.

— Какие у вас роскошные волосы! — сказала она маме, вытряхивая мокрый песок из туфли. — И как чудесно вы плаваете!

Она сильно шепелявила, и вместо «чудесно» у нее выходило «тюдефно».

Мама хмурилась и торопилась уйти, но она не отставала всю

дорогу. А дорога была трудная: вверх по крутому откосу. Мы часто садились отдыхать на сухую, твердую, красно-бурую землю, под чахлую тень низкорослых маслин. И барыня садилась вместе с нами, защищаясь от знойного солнца крохотным зонтиком из бледнорозовых кружев. Болтая языком безумолку (она вообще совершенно не умела молчать), она рассказала маме о своих служанках, болезнях и платьях и о том, какой у нее замечательный муж — Ипполит.

Я слушал ее со скукой. Но вдруг она сказала такое, что я чуть не вскрикнул от счастья. Оказалось, ее Ипполит собирается в воскресенье, послезавтра, покататься на яхте и с удовольствием покатает меня.

Под парусом! На яхте! Послезавтра! Вся моя скука пропала. Не замечая крутого подъема, я помчался вверх, как жеребенок, подхлестывая себя пыльною веткою, которую сорвал по пути. Мама с трудом догнала меня уже на самом верху косогора, но я вырвался и побежал мимо дач, ударяя веткой по их железным решеткам.

Когда, утомленные жарой и дорогой, мы добрели наконец до ворот нашего дома на Рыбной, новая знакомая сказала:

— Разрешите зайти отдохнуть.

И, войдя, завосхищалась еще звонче:

— Малороссийские вышивки! Фикусы! Олеандры! И какая чистота! И прохлада!

Она просидела у мамы весь день, мешая ей приняться за работу. И, уходя, повторила свое обещание: ровно в десять послезавтра по дороге на Малый Фонтан она зайдет за нами со своим Ипполитом, и мы отлично покатаемся до маяка и обратно.

— Я надену мое голубое... или лучше сиреневое!

Когда она миновала весь двор, к ней, переваливаясь утиной походкой, подошла наша домовладелица Зоя Макри, схватила ее за кисейный рукав и стала горячо говорить ей о чем-то, указывая на нашу квартиру. Очевидно, она говорила обо мне и о маме. Цветкова долго слушала ее с большим интересом, то закрывая, то открывая свой зонтик. А потом сорвала с олеандра цветок и ушла. Что сообщила ей Зоя Макри, я не знаю, но, должно быть, что-то очень плохое, потому что мама, наблюдавшая ее из окна, сказала мне, гладя меня по лицу:

— Увидишь: послезавтра они не придут.

Я сердито замахал руками. Нет, нет, они придут ровно в десять, и мы покатаемся всласть под белыми парусами, на яхте, от Малого

Фонтана до маяка и обратно. То будут самые веселые часы моей жизни.

Маруся уложила меня спать, но я выскочил в одной рубахе из комнаты, прямо на железо, прикрывавшее помойную яму, и босыми ногами проплясал на нем танец североамериканских команчей, звеня и громыхая на весь двор, и прокричал всем соседским мальчишкам, что послезавтра я еду кататься на яхте — от Малого Фонтана до маяка и обратно.

В воскресенье я встал до рассвета и сейчас же помчался на улицу: не увижу ли издали сиреневое платье и розовый зонтик.

Но Цветкова так и не пришла. Я ждал ее до самого вечера, а вечером ревел противным голосом, который был отвратителен мне самому, и никак не мог остановиться. Когда мама подходила ко мне, я отталкивал ее от себя, не слушая никаких утешений. То был первый в моей жизни обман, от которого мне пришлось пострадать.

Что же сказала о маме эта уткоподобная Зоя Макри? Какое она знала потаенное слово, от которого всякий, кто познакомится с нами, становится из нашего друга врагом?

Что это было за слово, я в ту пору не знал, но я знал, что в нем горе и стыд. И когда какой-нибудь знакомый заговаривал с мамой, я сразу чувствовал уже тогда, в раннем детстве, известно ли ему это слово, или он еще не слышал о нем. Нашему дворнику Савелию, колченогому чучелу, оно, без сомнения, было известно. Оттого-то Савелий, снимавший шапку перед каждым жильцом, при встрече с мамой не только не кланялся ей, но еще сильнее нахлобучивал шапку на лоб... Кто в этом виноват, я не знал, но мне часто вспоминалась та печальная колыбельная песня, которую в раннем детстве напевала мне мама:

Мэнэ, проклятy: я — твоя маты, —
Мэнэ клены! [1]

По-русски эти слова означают: «Меня, меня проклинай, проклятую, потому что я — твоя мать». И разве в ту лунную ночь не просила у меня мама прощенья? За что? Не за то ли, что я ее сын?

Быть ее сыном — для меня гордость и честь, и все-таки уже в те ранние годы я не мог не почувствовать, что ее загадочное преступление бросает свою тень и на меня. А также на сестру мою Марусю.

---

[1] Впоследствии я узнал, что это стихи Шевченко. Начинаются они так: «Ой люли, люли, моя дытына».

Года полтора тому назад, когда мне было уже одиннадцать лет, какой-то пьяный, гуляя «под качелями» по случаю пасхи, ударил меня кулаком по лицу, кажется, приняв за кого-то другого. Нас обоих повели в участок. И покуда я, наклонившись над краном, унимал холодною струею воды обильную кровь, идущую у меня из носа и разбитой губы, он, по наущению какой-то косоглазой старухи, сказал, будто он ударил меня за то, что я вытащил у него кошелек. В участке ему не поверили. Но дело перешло к мировому. И когда мировой заглянул в мою метрику, он сказал мне благодушно и лениво:

— Кто ж тебя знает?.. Может, ты и того...

И оправдал ударившего меня хулигана.

Вот какую силу имело то окаянное слово, которое было написано в моей метрике, — из-за «преступления», совершенного мамой.

Что же это за преступление? И неужели моя чернобровая мама, такая величавая, гордая, с такой ясной душой, способна совершить преступление?!

Эти вопросы томили меня с раннего детства до той памятной лунной ночи, когда, сидя со мною в кухне на большом топчане, мама рассказала мне всю свою жизнь.

И я наконец узнал, в чем заключается ее преступление.

Глава тринадцатая

ХАПУГА БЕЗ УЗДЫ

Но многого я все же не понял, а спросить у мамы не посмел. Мама в разговорах со мною ни разу не вспомнила о той откровенной беседе, которая была у нас ночью.

Она как будто стыдилась своей ночной откровенности. И мы молчаливо условились с нею: больше этой темы не касаться.

Вскоре после того, как я слег, пришли навестить меня Муня Блохин и Тимоша и рассказали мне столько волнующего о последних событиях в гимназии, что все мои мысли пошли ходуном.

Товарищи рассказали мне, что на этой неделе Шестиглазый выбросил из гимназии еще пятерых — и каждого за самые пустые провинности. В другое время он вызвал бы нашаливших мальчишек в «рыдальню» и произнес бы перед ними цветистую речь в стиле какого-нибудь великого оратора древности, тем дело и кончилось бы. Теперь же он словно с цепи сорвался: вышвыривал на улицу одного

за другим. Третьеклассника Саньку Глушкова он исключил лишь за то, что на уроке географии Санька при помощи солнечных зайчиков показал своему другу Актарову, где находится Индо-Китай.

Глушков был сын небольшого чиновника, умершего в прошлом году.

Зато не было такой вольности, которая не разрешалась бы «аристократам» гимназии. Слава Богуцкий, сын юрисконсульта нескольких банков, в тот же день, когда совершилось изгнание Глушкова, взял с кафедры большую чернильницу, с самым невинным видом подал ее одному новичку-первокласснику и обратился к нему с вежливой просьбой:

— Дунь!

Тот добросовестно набрал в легкие воздуху и с такою силою дунул в чернильницу, что все ее содержимое выплеснулось ему прямо в лицо. Лицо от подбородка до лба оказалось забрызгано кляксами. Залило даже глаза. Но Прошка, проходя по коридору, увидел издали все происшедшее и, вместо того чтобы тотчас же наказать шелопая, предпочел юркнуть в учительскую и отсидеться там до самого звонка. Нужно было дать Богуцкому скрыться!

Все это Тимоша рассказывал мне так подробно и медленно, что нетерпеливый Блохин смотрел на него все злее.

И чуть только Тимоша на минуту умолк, Блохин воспользовался этой минутой и затараторил с быстротой вентилятора:

— А кошка!.. Ты слышал, чем кончилась история с кошкой? Ой, это такая история!

— В-вот с-сейчас я ее расскажу! — перебил его, не желая сдаваться, Тимоша.

Но Муня досадливо дернул плечом. Очень волновала его эта история, и для него было истинной мукой выслушивать ее в медлительном изложении Тимоши. Он перебил Тимошу и, покуда тот напрягал все свои силы, чтобы произнести первое слово, помчался вперед, как на крыльях, и скоро был уже в самой гуще событий.

По его словам, затеял всю эту историю Анатра, сын знаменитого в городе биржевого дельца, самый важный ученик во всей гимназии. Анатра вел себя среди гимназистов, как принц. На уроки приезжал в лакированной английской пролетке шоколадного цвета. Не помню, чтобы он удостоил кого-нибудь из нас разговором. Разве что процедит сквозь зубы два слова мопсовидному графу Капнисту или прыщеватому Шиммелю, сыну банкира. Лицом и фигурой он был похож

на Бонапарта: такой же смуглый, тучный и красиво-надменный. Но душа у него была мелкая. Рассердившись за что-то на Василия Афанасьича, учителя алгебры, он подбил Шиммеля принести в ранце голодную кошку и посадить ее в ящик для мела, чтобы она напала на врага. Но в заточении кошка так жалобно плакала, что один из шестиклассников не вынес ее отчаянных воплей, похожих на крик человека, которого мучают, и сделал попытку выпустить ее на свободу. То был Рафа Синельников, бледнолицый брюнет, чудесно игравший на скрипке. Его попытка не имела успеха, потому что, чуть только он выдвинул ящик на два сантиметра, кошка обнаружила столько воинственной злобы, что он, испугавшись, вдвинул ящик обратно, после чего она мгновенно затихла.

Отсюда возникла легенда, будто виновником всей этой кошачьей истории является Рафа Синельников.

Между тем Рафа с самого начала возмущался жестокостью Анатры. Но, на беду, Прошка подглядел из дверей коридора, как Рафа перед началом урока хлопочет у классной доски возле ящика, и донес в педагогический совет, что видел своими глазами, как Рафа совал туда кошку.

Класс, защищая любимого Рафу, решил в виде протеста «взбунтоваться». Анатра все это время скрывался, четыре дня не приезжал в гимназию, а на пятый приехал как ни в чем не бывало и заявил своим тихим, барственным, чуть-чуть хриповатым, презрительным голосом, что он не намерен покрывать эту «иудейскую мразь» (Рафа был еврей). И «аристократия» класса понемногу примкнула к Анатре. Первый ученик Супруненко, который в начале «бунта» вел себя, как хороший товарищ, стал через несколько дней мямлить, хныкать, вилять и юлить и в конце концов открыто перекинулся на сторону Анатры.

— Глиста собачья! — возмущался Блохин.

В конце концов выгнали не Рафу, а двух «коноводов», так как отец Рафы, капельмейстер городского театра, человек разбитной и пронырливый, не теряя времени, отправился в Коммерческий клуб, где ежевечерне бывал Шестиглазый, и проиграл ему в карты двести или триста рублей.

— Это говорил мне сам Рафа! Проиграл! Нарочно проиграл!

Таков, по словам Блохина, лучший способ вручить Шестиглазому взятку. Ваш сын получил, например, единицу. Вы хотите, чтобы ему поставили тройку. Вы идете в Коммерческий клуб и нарочно проигры-

ваете Шестиглазому полсотни рублей. И можете быть спокойны: тотчас же после единицы, через несколько дней, в журнале появится желанная тройка, хотя бы сын ваш попрежнему не готовил уроков.

Торговля отметками была поставлена у Бурмейстера на широкую ногу. У него даже существовала определенная такса: за тройку—столько-то, за четверку дороже, за пятерку еще дороже. Впрочем, самым ходким товаром были, конечно, тройки. Особенно в последнюю четверть, когда подводились итоги всему учебному году. Несомненно, Шестиглазый делился доходами с попечителем Люстихом, потому что торговал открыто, не боясь никого.

Из всех учителей в нашем классе только Иван Митрофаныч да Василий Никитич осмелились заявить протест против этого. Муня рассказал мне, что дня три или четыре назад, сидя у открытого окна своей комнаты, Иван Митрофаныч, полуголый, в одной рубахе, с «расхристанной» грудью, громко обличал Шестиглазого перед толпой гимназистов:

— Ирод! Пират! Компрачикос! Людоед!

А Василий Никитич уже давно, с самого начала учебного года, не подает руки ни Шестиглазому, ни Прошке. Шестиглазый встретил его недавно в приемной у доктора Лапотникова.

— Здравствуйте, Василий Никитич!

Но тот руки за спину:

— Незнаком-с. Извините-с.

И теперь Шестиглазый при помощи Прошки выдвигает против него обвинение, будто он у себя на квартире устраивает незаконные сборища.

И от этого-то людоеда я сдуру надеялся добиться справедливости! Я воображал, будто, едва он узнает, что виноват не я, а Валька Тюнтин, он сейчас же прикажет, чтобы меня воротили в гимназию. Я не знал, что этот златоуст, произносящий такие высокопарные речи в древнегреческом стиле, есть, в сущности, продажная тварь, у которой каждый может купить ее совесть.

Самый крупный доход получал он, оказывается, с богатых евреев. Евреям в то время не разрешалось учиться в гимназиях. Их допускали туда в ничтожном количестве: на десять христиан—один еврей [1]. А евреи очень хотели учиться, и перед началом каждого учебного года в каждую гимназию являлось не меньше сотни еврейских ребят, и

---

[1] Да и то лишь на юге. В прочих местах России — один еврей на тридцать христиан.

все они жаждали стать гимназистами. Но из этой сотни ребят жестокий закон разрешал принять только двух или трех. Кого же из них примет Бурмейстер? Конечно, тех, кто даст ему наибольшую взятку. Самых богатых и щедрых. А бедным нечего и думать о том, чтобы когда-нибудь проникнуть в гимназию.

Это был самый неистовый, самый бесстрашный и самый наглый «хабарник» (так на юге называются взяточники) — и самый знаменитый из всех. Когда в городе хотели выругать какого-нибудь крупного взяточника, говорили:

— Он дерет, как Бурмейстер!

Мудрено ли, что честнейший Финти-Монти возненавидел Шестиглазого до слез! Он обличал его всюду, где мог. Ездил даже в Питер к министру Делянову, жаловаться на «подлеца и хапугу». Но Финти-Монти было сказано «цыц». Финти-Монти должен был выйти в отставку, и вместо него к нам прислали пышнобородого Гудима-Карчевского.

— За что же министру... скажи-ка мне, Муня... за что же ему любить Шестиглазого, — спросил, заикаясь, Тимоша, — если Шестиглазый такой людоед?..

Муня ответил вопросом:

— Или ты не видел, как Шестиглазый поет «Боже, царя храни»? Как он крестится и целует иконы? Как он хлюпает носом, когда говорит о вдовствующей императрице Марии Федоровне?

Действительно, Бурмейстер чуть не на каждом уроке твердил, что только оголтелые выродки дерзают мечтать о ниспровержении самодержавного строя.

Каждый год на торжественном акте, когда в гимназию приезжало начальство, он произносил подобострастную речь, где восхвалял губернатора, попечителя, архиерея, министра и неизменно ругал — ни с того ни с сего — революционных борцов, а заодно Дарвина, Бокля и Писарева, называя их вурдалаками, отбросами человечества, «апостолами лжи и безверия».

Как же было начальству не любить Шестиглазого!

Страннее всего то, что этот отъявленный плут был неплохим учителем. Он преподавал русскую словесность и древнеславянский язык. Порою его уроки бывали так увлекательны, что я досадовал, когда они подходили к концу. О Ломоносове и Державине, о русских былинах он рассказывал с горячим восхищением, которое передавалось и нам.

В наш город он приехал из Москвы, где был любимым преподавателем женских гимназий. Невозможно понять, каким образом здесь, в провинции, в течение столь короткого времени этот энтузиаст и бедняк сделался бездушным пройдохой.

Все это сообразил я во время болезни. Вообще в то время я впервые задумался о многих вещах и многое понял по-новому. Как будто я был слеп и прозрел. Когда я встал с постели, похудевший и хмурый, я почувствовал, что детство мое — позади. За этот месяц я вырос лет на десять.

А вскоре в нашем доме случилось событие, которое словно прожектором осветило всю мою жизнь. Мне стала впервые понятна жестокая тайна, которую рассказала мне мама в мартовскую лунную ночь, — тайна о ее преступлении.

Глава четырнадцатая

ЭКЗАМЕНЫ. — МАРУСИН АТТЕСТАТ

Когда я вышел на улицу, весна была в полном разгаре. Золоченые орлы на аптеках сверкали так жарко и пламенно, что глазам было больно смотреть.

Под зелеными навесами на каждом углу шла бойкая продажа тепловатого хлебного кваса.

В магазине братьев Сарафановых весело пестрели разноцветные пасхальные яйца.

Хацкель Кур с хацкелятами уже запустил в облака первого весеннего змея.

Во всех гимназиях наступили экзамены. Прежде время экзаменов было для меня самое ненавистное время. А теперь я даже завидовал Тимоше и Муне, что они дрожат и волнуются, готовят себе десятки шпаргалок, пьют по ночам черный кофе, чтобы не заснуть за латинской грамматикой, и зубрят, зубрят, не понимая ни слова, и наутро бегут спозаранку в гимназию и с ужасом подходят к столу, застланному синим сукном.

Бояться экзаменов казалось мне счастьем. Я отдал бы все на свете, чтобы и мне, как другим, можно было бояться экзаменов. Но я был «бывший гимназист», без герба на фуражке, и мне было предоставлено печальное право: бесцельно слоняться по весеннему городу.



— Неужели вы думаете, что с таким аттестатом вас примут в какой-нибудь порядочный дом?

У Маруси тоже были в ту пору экзамены: она уже кончила свою семилетнюю школу. Готовилась Маруся к экзаменам с необыкновенным усердием. Она и без того знала наизусть все учебники, но этого казалось ей мало, и она зубрила их до истощения сил. Среди ночи бывало, когда ни открою глаза, вижу: она все еще сидит за столом и, заткнув уши, бормочет, как пьяная:

— Квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов... Квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов... Квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов...

Или:

— Верую во единого бога-отца, вседержителя, творца неба и земли, видимым же всем и невидимым... Верую во единого бога-отца, вседержителя, творца неба и земли, видимым же всем и невидимым...

Она была первая ученица, и получить вместо пятерки четверку казалось ей великим унижением.

Впрочем, тут действовало не одно честолюбие. Пятерки были нужны ей для заработка. Начальница училища заявила накануне экзаменов, что ту ученицу, у которой в аттестате будет сплошная пятерка, она отрекомендует богатой купчихе мадам Жеребцовой в качестве учительницы для ее маленькой дочери Нелли. Купчиха жила на Урале, в деревне. Значит, можно будет все лето купаться в реке, собирать полевые цветы, объедаться лесной земляникой и получать, кроме всех этих радостей, ежемесячно двадцать пять рублей. Значит, осенью, в октябре, воротившись на Рыбную, Маруся привезет с собою несметные деньги и отдаст их маме — на покупку угля, на выкуп застрявших в ломбарде вещей, на приобретение (в рассрочку!) воротника для пальто. Ради этого богатства стоило сидеть до полуночи у керосиновой лампочки и, превозмогая сонливость, бормотать, как заклинание, галиматью из учебника:

Возле, ныне, подле, после,
Вчуже, въяве, вкратце, вскоре,
Где, отменно, вне, совсем,
Слева, некогда, нигде,
Негде, вкупе, вдалеке...

Эти стихи назывались: «Перечень наречий с буквой «ять», и Маруся знала их не хуже, чем оды Державина.

После каждого экзамена Маруся приходила счастливая. Можно было по глазам ее видеть, что она получила пятерку (глаза у нее были огромные, карие).

Экзамены еще не кончились, а начальница уже вполне убедилась, что Маруся есть лучшее украшение школы и что, кроме Маруси, никакая другая воспитанница не может быть рекомендована мадам Жеребцовой.

Жеребцова уже приезжала в училище и осталась чрезвычайно довольна Марусей. Она смачно расцеловала Марусю, показала ей портрет своей Нелли, подарила ей черную бархатку и все совала в виде задатка какие-то деньги, от которых Маруся отказалась из гордости.

Вот и последний экзамен. Вот и 19 мая, высокоторжественный день, когда после молебна и длинных речей окончившим епархиалкам были вручены аттестаты — красивые большие листы с золотыми орнаментами. Марусин аттестат был лучше всех: круглая пятерка сверху донизу — даже по рукоделию, даже по пению. Сам архиерей похвалил «отроковицу Марию». И когда «отроковица Мария» прибежала домой, она была пунцовая от счастья. Глаза ее готовы были выпрыгнуть. Умывшись, чтобы охладить хоть немного свое пылающее радостью лицо, она тотчас же отправилась к мадам Жеребцовой. Никогда я не видел ее такой возбужденной. Куда девалась вся ее солидность!

Да здравствует купчиха,
Купчиха Жеребчиха! —

кричал я Марусе вслед, быстро сбегая с крыльца.

На бегу она громко звякнула железным листом, прикрывающим нашу помойную яму; этого не было с ней никогда, потому что с самого раннего детства она держала себя чинно, как взрослая, и не раз грозила мне пальцем за то, что я грохочу на помойке.

А через час она пришла смертельно бледная и, не отвечая на наши расспросы, упала на кушетку ничком и пролежала до вечера. А вечером медленно взяла аттестат — такой красивый, с золотым орнаментом, — скомкала его и стала мять, и мяла так долго, так тщательно, словно вся ее цель была в том, чтобы в этой гладкой бумаге не осталось ни одного вершка неизмятого. Потом она выдвинула единственный ящик своего рабочего столика, сунула туда этот мятый комок — подальше, поглубже, на самое дно! — и снова легла в той же позе. Мама тихо стояла вдали, не смея приблизиться к ней, и смотрела на нее виновато.

Завтра утром, в половине восьмого, за Марусей зайдут подруги. Все тридцать девушек, окончивших училище, едут завтра в конке на Малый Фонтан праздновать на морском берегу благополучное

завершение экзаменов. Мама уже приготовила для Маруси еду: маслины, жареную скумбрию и горшочек сметаны. Все это уложено в салфетку, белоснежную, изящно завязанную.

Вот и утро. Веселые девушки наполнили своим щебетом двор. Одна из них вспорхнула на погреб и стукнула в окошко «гостиной». Оказалось, Маруси нет дома. Маруся ушла на рассвете неизвестно куда, оставив белоснежную салфетку нетронутой. Девушки пощебетали, поахали и скоро ушли. Им было некогда, они торопились на взморье — бегать доупаду по красно-бурым холмам, танцовать у самого края воды, петь и беспричинно смеяться.

Мама, взволнованная, ушла со двора: искать Марусю.

Оставшись в квартире один, я вытащил из Марусиного ящика скомканный аттестат, разложил его перед собой на столе, аккуратно разгладил, и в ту же секунду мне стало понятно, почему эта печатная бумага, наполненная сплошными пятерками, оказалась для бедной Маруси оскорбительнее всякой пощечины. В ту же секунду я живо представил себе, как, прочтя этот ужасный аттестат, «купчиха Жеребчиха» замахала руками и с негодованием сказала Марусе:

— Боже мой, неужели вы думаете, что с таким аттестатом вас примут в какой-нибудь порядочный дом?

В первой же строке аттестата было крупнейшими буквами указано то преступление мамы, которое опозорило и ее, и меня, и Марусю.

Эта первая строка аттестата была так унизительна, что похвалы и пятерки, содержащиеся в его дальнейших строках, утрачивали всякую ценность: их все равно нельзя было показать ни одному человеку.

Я сунул аттестат обратно в ящик, лег на гладильную доску и в тысячный раз задумался: почему же, почему же нас так тяжко наказывают за сделанное мамой преступление?

Глава пятнадцатая

«НЕЗАКОННЫЕ»

Преступления, в сущности, не было.

Это я понял тогда же, в ту лунную ночь, когда мы с мамой сидели, обнявшись, на кухне.

Был благородный и смелый поступок, который только дураки да мошенники могли называть преступлением.

Вся беда была в том, что в ту пору существовал такой дикий

закон: если мужчина и женщина полюбят друг друга, они непременно должны отправиться в церковь к попу. Поп за особую плату прочтет над ними длинную молитву, обведет их три раза вокруг высокого столика, и только тогда — но не раньше — они имеют право называться женою и мужем.

А если случится, что они любят друг друга без благословения церкви и не обращаются за молитвами ни к какому попу? Если без всяких церковных обрядов у них, скажем, родится ребенок? Или двое детей? Или трое? Горе им и великий позор! Царский закон объявлял их грешниками. Впрочем, не их обоих, а только женщину-мать. Женщина считалась с этой минуты преступницей, и царское правительство объявляло ее детей н е з а к о н н ы м и, и соседи давали этим детям обидные клички, называли их «байструками», «байстрятами», считая, что эти незаконные дети гораздо хуже законных детей, что они какие-то скверные, так как господь-бог в небесах не дал им разрешения родиться. Чтобы еще сильнее оскорбить и унизить ту женщину, у которой есть «незаконный» ребенок, правительство продолжало называть ее попрежнему девушкой, и это считалось в ту пору ужасным позором.

Из-за этого позора тысячи и тысячи женщин, у которых были «незаконные» дети, убивали их и себя.

В паспорте у моей мамы была именно такая свирепая строчка:

«Девица с двумя детьми»,

и эта одна строчка на всю жизнь придавила ее.

Из-за этой строчки Карабубин не допустил мою маму в здание «Павловских дешевых квартир». Из-за этой строчки соседи шептали друг другу о маме какие-то ехидные гнусности всякий раз, когда мама проходила мимо них по двору. Из-за этой строчки мама жила, как отверженная, почти ни с кем не водила знакомства, ни с кем не раскланивалась, не ходила ни к кому ни на именины, ни на свадьбы, ни в гости.

А в аттестате у Маруси было сказано:

«Сим удостоверяется, что дочь крестьянки, девицы такой-то, оказала отличные успехи».

Этого было достаточно, чтобы «купчиха Жеребчиха» оттолкнула Марусю от своей дочери Нелли, будто Маруся оказалась воровкой.

Как же случилось с нами такое несчастье? Почему мы родились «незаконными»?

Произошло это так.

Моей маме не было девятнадцати лет, когда в нее, полтавскую крестьянку, неграмотную, влюбился заезжий студент, обещал жениться и увез в Петербург, но через несколько лет разлюбил ее, бросил, уехал в Варшаву и там женился на какой-то избалованной барышне. А мама осталась с нами, с детьми, опозоренная, без мужа, без денег, без какой бы то ни было помощи. Впрочем, деньги мой отец присылал иногда. Но какие-то гроши, да и то очень редко. А потом и совсем перестал присылать. Так что маме поневоле пришлось приняться за стирку чужого белья.

По законам того времени, никак нельзя было принудить моего отца, чтобы он выдавал моей матери деньги на пропитание детей. Хочет — выдаст, не хочет — ничего не поделаешь. Отец освобождался от всяких обязанностей по отношению к своей «незаконной» семье.

В метриках у «законных» детей говорилось: «Сын отца такого-то и матери такой-то». Но в моей метрике было написано:

«Незаконнорожденный сын девицы такой-то».

Отец даже не упоминался. Словно я родился без отца.

Что же оставалось моей матери? Жить в позоре, в одиночестве, в беспросветной нужде и работать без отдыха по двадцать часов, лишь бы только вывести в люди своих «незаконных» детей.

И на эту-то величавую труженицу какая-нибудь пьяная Сутугина смела смотреть сверху вниз, как на презренную тварь. А поп Мелетий доказывал в классе, что женщины, подобные маме, суть безбожные грешницы, и при этом ядовито косил на меня свои белесые глазки.

С каким замученным видом, полумертвая от усталости, вернулась мама домой после изнурительных поисков убежавшей Маруси! Она искала Марусю и на взморье, и у племянницы мадам Чумаченко, и у Длинной Лизы на Аккерманской заставе.

К счастью, вскоре мне удалось обнаружить, что Маруся никуда не уходила. Она все время была тут, во дворе, за сараями, в каламашке, прислоненной к стене. Сюда Маруся забралась спозаранку и тихо проплакала до сумерек. В сумерках она молча вернулась домой, и, когда шла по ступенькам, походка у нее была, как у древней старухи. Мама кинулась было к ней, но отшатнулась внезапно, испуганная суровым выражением ее остановившихся глаз.

После этого случая у меня сразу пропало всякое желание вернуться в гимназию.

Ведь если каким-нибудь чудом я опять окажусь на своей старой скамье и буду учиться три года, я получу такой же оскорбительный и злой аттестат, какой получила Маруся. Что делать с таким аттестатом? Разорвать — и больше ничего. Потому что показывать его людям нельзя.

И я выбрал себе другую дорогу.

Если когда-нибудь мне случится продолжать эту повесть, я расскажу в ней о том, как после многих мытарств я уехал учиться в Англию; какие были у меня там приключения; как в 1905 году я воротился в Россию и видел восстание «Потемкина» (и даже был на «Потемкине» вместе с Циндилиндером, Тимошей и Ходотовым, известным петербургским актером); как меня судили за оскорбление величества и как я убежал от тюрьмы в имение Меддум Курляндской губернии; как через десять лет я отомстил Шестиглазому за все его обиды и жестокости; как мама моя подружилась с неугомонной Франциской; как встретила она Октябрьские дни и как мой «благодетель» Валя Тюнтин, у которого был такой классический профиль, вместо того чтобы сделаться великобританским послом, подделал вексель и угодил в арестанты.



МИНИСТР, ЦАРЬ И «КУХАРКИНЫ ДЕТИ»

1. МИНИСТР

Иван Давыдыч был известный добряк. Все так и говорили о нем:

— Простой, отзывчивый, душа нараспашку!

Он и сам повторял постоянно:

— Двери мои открыты для всех. Приходи и бедный и богатый.

Если с вами случилась беда, идите к Ивану Давыдычу. Живет он на Невском, во втором этаже, в доме армянской церкви, супротив Гостиного двора.

Иван Давыдыч встретит вас очень радушно, усадит в кресло, угостит папиросой, внимательно выслушает и даже губами причмокнет.

Не хотите ли, чтобы он дал вам записочку к какой-нибудь важной особе? Сделайте одолжение! Пожалуйста! Иван Давыдыч никому не отказывает!

Вы даже не просили его, а он с радостью мокает перо, придвигает бумагу и пишет о вашей беде генерал-лейтенанту Грессеру, или князю Мещерскому, или графине Уваровой, или Вышнеградскому, министру финансов. Мало ли у него всемогущих знакомых!

Покуда он пишет, вы смотрите на него с благодарностью. Есть же на свете хорошие люди! Даже наружность его начинает вам нра-

виться. Эти выпученные рачьи глаза, эти жирные губы, этот нависший над подбородком крючковатый, лоснящийся нос, — право, во всем этом есть даже что-то приятное. Сам он маленький, а голова как котел, — лысая голова, без единого волоса. Ни бороды, ни усов! И вам начинает казаться, что он ужасно похож на щелкунчика, каким вы в детстве щелкали орехи, — ножки тоненькие, нос закорючкой, — и от этого он кажется вам еще симпатичнее.

Но вот он кончил и размашистым почерком написал в конце бумаги свою фамилию. Есть же на свете такие хорошие люди! Ожидая, чтобы просохли чернила, он начинает беседовать с вами... или нет, не беседовать, а просто калякать, как со старым приятелем, — словоохотливо, душа нараспашку.

— Ну, что в вашем городе?.. Этот Бурмейстер? Говорят, он хапуга отчаянный...

— Да, ваше сиятельство, такой живодер! Не дальше как на прошлой неделе...

— А верно, что у Фанкони, в кондитерской, он приударил за какой-то армяночкой... а супруга его, Евдокия Семеновна, сняла с себя тут же туфлю да хлясь его по щекам?

— Не знаю, ваше сиятельство. Но...

— Как же! Как же! Ведь эта Евдокия Семеновна... с нею, знаете, в позапрошлом году случилась, знаете, такая история. Моя жена, урожденная Лазарева...

И он рассказывает вам сплетню за сплетней. Рассказывает вкусно, с аппетитом. Видно, что анекдоты — его специальность.

Так и сыплются из Ивана Давыдыча имена и фамилии... Он помнит решительно всех, кого видел хоть мельком лет двадцать назад, он знает подноготную каждого.

— А правда ли, что Курчавый, Сергей Парамоныч, пьянствует со своею кухаркою?

— Не знаю, ваше сиятельство... Но...

— А между тем существует отличное средство от пьянства, верное средство, на себе испытал. Возьмите две унции...

И он сообщает вам подробный рецепт и просит передать его... нет, не Сергею Парамонычу, а его кухарке... Уж вы не забудьте!

Чернила на рекомендательном письме, написанном рукою Ивана Давыдыча, давно уже успели просохнуть, а он все еще калякает с вами. Сколько у него, однако, свободного времени! Наконец он вспоми-

нает о письме, и тут же вкладывает его в большой министерский конверт, и пишет на конверте своим добрым, размашистым почерком:

Его Высокопревосходительству
Михаилу Николаевичу
ОСТРОВСКОМУ
Господину Министру Государственных имуществ

От Графа ДЕЛЯНОВА

и, вручая вам это письмо, сердечно пожимает вашу руку, и на лице у него еще яснее написано: «Ну, что же мне делать, если я такой симпатичный!»

Вы, как на крыльях, спускаетесь с лестницы, и швейцар, видя ваше веселое лицо, говорит:

— Благороднейшей души человек! Точно он и не граф, точно он и не министр, точно он и не первое лицо в государстве!

Вы даете швейцару полтинник и мчитесь по указанному адресу.

— У меня письмо от министра... от графа... от Делянова... от Ивана Давыдыча!..

Секретарь ухмыляется кисло. Без всякого почтения берет он у вас ваше сокровище и, бормоча что-то скучное, уходит безнадежной походкой. А сидящий тут же канцелярский служитель говорит вам сочувственно насмешливым шопотом, вытирая тряпочкой перо:

— Подумаешь, невидаль: письмо от Делянова! Да у нас этих писем — во! Хоть коридоры обклеивай! Наш их давно не читает. Получит, порвет — и в корзину. Потому что добро бы два-три, а то каждый день по десятку!

— По десятку?!.

— Бывает и больше... И письма, и визитные карточки... Иван Давыдыч ведь никому не отказывает. Цельный день раздает их направо-налево. Только у него и делов. А вчера одна барыня, вроде как вы, прибегает сюда, рада-счастлива: «У меня письмо от Ивана Давыдыча!» Ну, приняли ее в кабинете, прочитали письмо, смеются. И показывают ей, а там написано: «Избавьте меня, пожалуйста, от этой старой дуры».

Тут выходит кислый секретарь и, не глядя вам в глаза, сообщает, что вы можете не дожидаться ответа, так как никакого ответа не будет.

Очевидно, и это письмо добросердечного Ивана Давыдыча — вслед за десятком других — полетело непрочитанное в корзину! А может быть, Иван Давыдыч и про вас написал, что вы — длинноухий осел. И правда, вы были ослом, ожидая человеческой помощи от этого анекдотиста и сплетника.

Вся его наружность кажется вам теперь омерзительной: эта жирная улыбка, эта маслянистая лысина — дать бы ему подмышку салфетку, из него в любом ресторане вышел бы превосходный лакей: угодливый, льстиво поддакивающий.

Впрочем, ему и салфетки не нужно. Он и без салфетки лакей. Если бы он не был лакеем, — не сидел бы на этом бархатном кресле, не был бы министром, сенатором, графом, не ездил бы в Гатчину и в Аничков дворец к своему огромному, бородатому, сонному, рыхлому, водянистому барину.

2. ЦАРЬ

Барин у него тоже не злой. Еще, пожалуй, «добрее» его. Выпьет лишнюю бутылку вина и начинает шалить: ляжет на пол и болтает ножищами. И каждого, кто пройдет мимо из мужчин и детей, норовит схватить за ноги и повалить на ковер. Это любимое его развлечение.

Без спиртного барин не может обойтись ни единого дня. Он даже устроил себе специальную флягу, незаметную, плоскую, и держит ее за голенищем сапога. Чуть его жена отвернется, он флягу ко рту. А покуда она глядит на него, он сидит себе смирно и чинно. Жена уходит спокойная, а он напьется тайком от нее и давай резвиться на ковре. Дрыгает руками, ногами, хватает проходящих за штаны и весело визжит от удовольствия — расшалившийся младенец колоссального роста, с широкой бородой мясника.

Барин был простой, еще проще Ивана Давыдыча. Хотя у него было много великолепных дворцов, он ютился в тесной и душной квартирке, под низким потолком, со скверной мебелью. Промокашка у него на столе была грязная, в спальню было трудно войти, такая там стояла ужасная вонь: там жили вместе с барином четыре собаки.

Этот барин — всероссийский император, царь Александр Третий. Человек неповоротливый, жирный, огромный и скучный, с отвислым, добродушно-свирепым лицом.

Пожалуйста, не подумайте, будто он только и делал, что пьянствовал. Нет, по праздникам он играл на тромбоне, а в будни целыми днями просиживал в Гатчине, вдали от людей, в низком, душном и темном своем кабинете, над грязной свой промокашкой, и читал и подписывал кипы приказов, указов, распоряжений, законов. Глядя на него, как он сидит с утра до ночи над своими бумагами, усталый, обвислый и сумрачный, вы непременно подумали бы: «Как невесело, как скучно быть царем!»

Ему и в самом деле было скучно. Но надо же спасать любимую Россию! Спасать от мерзавцев, которые погубят ее. Россия была бы самой счастливой страной, если бы не эти мерзавцы! Надо истреблять их десятками, чтобы ни одного не осталось, — иначе даже страшно подумать, что станет с несчастной Россией. Провалится она в тартарары, если в Гатчине не будет сидеть с утра до ночи этот рыхлый и унылый бородач над грязной своей промокашкой. Ежедневно, спасая Россию от гибели, он пишет корявым, полуграмотным почерком на бумагах, которые лежат перед ним:

«Каналья!»

«Дрянь!»

«Негодяй!»

«Дурак!»

«Скотина!»

«Экое стадо свиней!»

Это он пишет про них, про «мерзавцев». Так называет он революционных бойцов, которые по причинам, ему непонятным, идут на каторгу, в тюрьмы, на виселицы. Ему и в голову не приходит, что это — герои. Для него все они поголовно — мошенники, и, вместо того чтобы сказать: «Я спасаю мою шкуру!» — он говорит: «Я спасаю от них Россию!», так как верит, что его шкура и Россия — одно и что без него, без царя, вся Россия рассыплется в пыль. Очень выгодная и удобная вера, не вызывающая в нем ни малейших сомнений, так как он из породы крепкоголовых маньяков, которые, уверовав в какой-нибудь догмат, считают его единственно правильным и ради торжества своей веры готовы на любые злодейства.

Тут же, недалеко от Аничкова дворца, за углом, на Литейной, живет Победоносцев, его учитель и друг, глава всех российских попов

и церквей. Лысый, с большими ушами, похожий на летучую мышь. Победоносцев раз навсегда, словно молотом, вбил в его бедную голову, что сам господь-бог Саваоф, сидящий где-то тут, неподалеку, на низеньком гатчинском небе, благословил его для искоренения крамолы и что, истребляя «мерзавцев», он тем самым угождает всевышнему.

Оттого-то и просиживает он целые дни над своими бумагами. Почти каждая из этих бумаг направлена к единственной цели: остановить идущую на него революцию.

Цель фантастическая, — медведю ли остановить ураган? Но гатчинский Топтыгин не знает сомнений. Уверенный, что это дело ему по плечу, он упрямо идет напролом.

Главное, он верит почему-то, что «мерзавцев» не так уж много — ничтожная шайка, — а весь стомиллионный народ за него! Народ кажется ему надежной опорой для его неуютного трона, и он не раз и не два заявляет в своих манифестах, что «русский благочестивый народ во всем свете известен любовью и преданностью своим самодержцам». Он чувствует себя народным и даже простонародным царем. И Победоносцев разжигает в нем эту сумасшедшую веру.

«Сохрани вас, боже, спаси и помилуй! — пишет он своему властелину, — а с вами все наше милое отечество, весь добрый и несчастный народ наш. Простые люди, с которыми я говорил, внушают великую надежду на будущее».

Великая надежда на «добрый и несчастный народ» заключается именно в том, что «простые люди» во всякое время встанут на защиту царя и окончательно расправятся с «мерзавцами». От их «шайки» в скором времени ничего не останется. Они погибнут, сокрушенные «праведным гневом» народа.

Подчеркивая простонародность своего царствования, этот полунемец отпустил себе славянофильскую бороду, носит косоворотку, сапоги бутылками, шапку набекрень. И всякому заморскому вину предпочитает родную сивуху.

Впрочем, его «народничество» тут и кончается. Потому что в основе всей его «народной» политики лежит свирепое угнетение народа. Ленин определил эту политику кратко и точно: «так называемая народная, а на самом деле, дворянско-полицейская политика» [1].

---

[1] Ленин, Собр. соч., том IV, стр. 159, «Ценное признание».

3. «КУХАРКИНЫ ДЕТИ»

Самодержавный «народолюбец» яснее всего обнаруживал свои подлинные чувства к народу, когда дело шло о народном образовании, о школах для масс. Тягу своего любимого «простого народа» к культуре он считал опасным преступлением, которое необходимо пресечь в самом корне.

Когда крестьянка Ананьина, привлеченная по одному революционному делу, упомянула о том, что она мечтала отдать своего сына в гимназию, Александр Третий написал негодуя:

«Это-то и ужасно! Мужик, а тоже лезет в гимназию!»

Когда тобольский губернатор не без прискорбия довел в своем докладе до монаршего сведения, что в губернии мало грамотных, царь написал на полях:

«И слава богу».

Он хорошо понимал, что «простые люди» лишь до той минуты являются надежной опорой престола, покуда они в темноте.

Поэтому он так распалялся, когда обнаруживал, что, невзирая ни на какие приказы, дети дворников, судомоек и прачек так и «лезут» за наукой в гимназию.

Нужно вымести их оттуда широкой метлой! Разве не из них формируется та «революционная сволочь», которая, очутившись в университетских стенах, заражает своими бунтарскими идеями широкие массы студенчества! Давно пора покончить с этой черныо!

В 1887 году юные студенты, первокурсники, вчерашние гимназисты, дети очень небогатых родителей, организовали покушение на жизнь царя. Значит, во всем виноваты гимназии! Значит, для того чтобы утихомирить студенчество, нужно очистить гимназии от озлобленной и подневольной бедноты.

Кто же произведет эту чистку?

Конечно, он, министр народного просвещения Делянов, милейший сплетник и анекдотист Иван Давыдыч. Иван Давыдыч словно создан для подобного дела. Он сделает его с большим удовольствием, потому что для его лакейской души нет высшего счастья, как выполнить волю начальства, пусть самую злую и дикую.

Угодить Победоносцеву и Александру Романову — предел его задушевных желаний.

Как относился сам Делянов к революционному студенчеству,

лучше всего видно из одной единственной строчки, которую написал он о курсистках, участвовавших в 1886 году в демонстрации:

«Было-то этих девок штук до двухсот»[1].

Чуть только Ивану Давыдычу стало известно, что вдохновляемый Победоносцевым царь намерен очистить гимназию от ненавистных «чумазых», он еще до всяких распоряжений по этому поводу изготовил проект циркуляра: изгнать из гимназии не только крестьянских и мещанских детей, но даже детей небогатых купцов, чтобы там учились одни лишь богачи и дворяне.

Александр Третий прочитал и поморщился.

Хорошо бы... но перед Европой неловко.

И Иван Давыдыч тотчас же изготовил другой циркуляр, либеральнее. Циркуляр, который прославил его на многие годы. Циркуляр о так называемых «кухаркиных детях».

5 июня 1887 года (полвека назад) этот циркуляр вступил в силу. В нем Иван Давыдыч предложил всем директорам гимназий освободить вверенные им заведения от «детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей», «детям коих вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию», потому что их «вовсе не следует выводить из среды, к коей они принадлежат».

Дети прачек пусть навеки останутся прачками, дети кучеров — кучерами, а право на образование предоставляется лишь богатым и барам! Одним росчерком благодушный министр обрекал на невежество десятки тысяч даровитых и жаждущих просвещения детей.

Напрасны были мольбы и протесты: циркуляр выполнялся с беспримерною строгостью.

Гимназии везде опустели, и Иван Давыдыч был этому рад. Он даже выражал свое особое благоволение тем директорам столичных и провинциальных гимназий, которые выгоняли из вверенных им заведений наибольшее число человек!

Директоры стали состязаться в жестокости. Например, из одесских гимназий изгоняли всех тех, кто жил в маленьких и тесных квартирах. Не меньше четырех комнат должен занимать человек, чтобы иметь право посылать своего сына в гимназию. Если он занимает три комнаты, мальчика даже не допустят к экзаменам. Плату за обучение в гимназии Иван Давыдыч, конечно, повысил, чтобы окончательно отвадить бедноту от наук.

[1] «К. П. Победоносцев и его корреспондент», том I, стр. 589.

И результаты этой меры оказались блистательными: в гимназиях стало мертво и пустынно.

По сообщению столичных газет, в начале следующего учебного года в женские гимназии Петербурга поступило втрое меньше учениц, чем было в минувшем году («Русские ведомости», 1887, № 235).

В витебскую мужскую гимназию подано 52 прошения, принято 13 человек (там же, № 240).

В Оренбурге, городе с семьюдесятитысячным населением, поступить в гимназию посчастливилось лишь четырем новичкам («Новое время», 1887, № 4086).

В классах, предназначенных для сорока человек, теперь училось не больше двенадцати.

Во многих гимназиях закрылись параллельные классы.

По сообщению газеты «Неделя», в одну шестиклассную гимназию подано было 30 прошений, принято же всего лишь 5 человек. А можно было принять до пятидесяти!

В Одессе в Ришельевскую гимназию из 120 прошений принято 60, а во вторую гимназию из 80 принято 11, причем в гимназии осталось около 80 вакансий («Неделя», 30 августа 1887 года).

Эти цифры не отражали истинного положения вещей. На самом-то деле отверженными оказались девять десятых всего населения России: все бедняцкое и середняцкое крестьянство, все малоимущее мещанство, весь мелкий торговый люд, не говоря уже, конечно, о рабочих. У них заранее отнималась надежда, что их дети путем образования могут когда-нибудь выбиться в люди и стать счастливее, чем были отцы. Делянов твердо заявил им, что государством приняты специальные меры, дабы насильно удержать их детей в том нищенском и темном быту, в каком они жили с рождения, ибо этих детей «вовсе не следует выводить из среды, к коей они принадлежат».

Таким образом широкие массы получили чрезвычайно наглядный урок политграмоты. В газетах тогда же появились заметки, что жители города Владикавказа, большинство которых состояло главным образом из тех «простолюдинов», детям коих доступ к среднему образованию закрыт, не пожелали участвовать своими скудными средствами в постройке гимназии для детей состоятельных классов («Русские ведомости», 1887, № 234).

Больше всех пострадали от деляновских мер жители не дворянского Камского края. В Вятской губернии крестьянство составляло

98 процентов всего населения; большинство детей, учащихся в гимназиях, принадлежало к податному сословию. По смыслу деляновского циркуляра, эти гимназии надлежало закрыть («Русские ведомости», № 237).

Наряду с очищением гимназий от детей зловредной бедноты Иван Давыдыч решил заодно произвести и другую, столь же «полезную» чистку: изгнать из всех гимназий евреев. Царь вслед за Победоносцевым был твердо уверен, что если дать евреям образование в гимназии, от них уже не будет спасения.

Пусть весь еврейский народ остается в невежестве! И Иван Давыдыч с большим удовольствием написал циркуляр о недопущении евреев в гимназии. В виде особенной милости разрешалось допускать в гимназию не больше трех евреев на каждую сотню учащихся.

В столицах евреям была предоставлена «трехпроцентная норма», а в черте оседлости (например в Одессе) милостиво разрешалось на каждые сто христиан принимать десять евреев. Так как директоры многих гимназий за прием каждого еврейского мальчика брали с их родителей крупные взятки, то в гимназию попадали главным образом сыновья богатых евреев, да и то с величайшим трудом.

«В первую гимназию (в Одессе) не принят ни один еврей, во вторую прогимназию принято два еврея, в третью прогимназию принят только один еврей», сообщают «Одесские новости» от 6 августа 1887 года.

Царь милостиво улыбался Ивану Давыдычу. Иван Давыдыч чувствовал себя чуть не спасителем родины:

Разом избавил я шуткой моей
Край наш голодный от жадных мышей!

Казенные газеты ликовали. «Гражданин», издававшийся продажным черносотенцем князем Мещерским, с восторгом восклицал:

«Слава богу! Слава царю, без одобрения которого не состоялась бы подобная важная мера! Многая лета министру и деятельным его сотрудникам, смело приступившим к этому великому делу!»

По словам газеты, «великая (?!) реформа» должна была особенно обрадовать тех, у кого имеются дети: «Не один отец, не одна мать, а многие десятки тысяч перекрестились и сказали: слава богу» («Гражданин», 1887, № 60, стр. 3—5).

Но самодержавие переживало такой гибельный период своей истории, когда всякая мера, предпринимаемая им для борьбы с революцией, только сильнее способствовала росту революционных настроений в стране.

Лишив права на образование десятки тысяч молодых людей, самодержавие тем самым озлобило их и сделало всю их массу превосходным горючим материалом революции. Страна была полна «недоучек», выброшенных из третьего, из четвертого классов, которые с удвоенной ненавистью относились к самодержавному строю.

«Очищенные» гимназии все равно не удалось уберечь от революционных влияний. Студенчество, прошедшее через эти гимназии, сыграло в русском освободительном движении огромную роль, о чем свидетельствует все десятилетие революционной борьбы с 1895 года.

Так что деляновский циркуляр о «кухаркиных детях» оказался не только жестоким, но и совершенно бессмысленным.

Через три-четыре года этот циркуляр был как будто забыт: «кухаркины дети» (правда, в очень малых количествах) стали снова допускаться в гимназии. Но после воцарения Николая Второго, в середине девятисотых годов, их стали снова изгонять оттуда с небывалой жестокостью, якобы за дурное поведение и малоуспешность в занятиях.

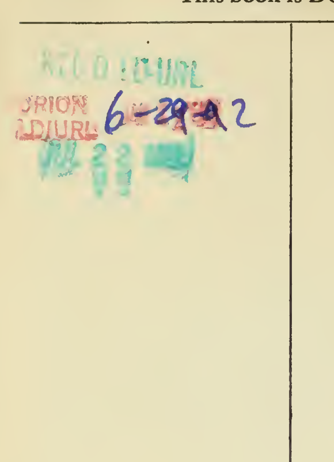
Тогда-то со мной и произошли те события, о которых говорится в этой книге.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Ответственный редактор М. Чачко. Художественный редактор П. Суворов. Технические редакторы Г. Левина и М. Голованова. Корректоры В. Гуркина и Ю. Носова. Детиздат № 2015. Индекс Д-7. Ф. 70 х 92¹/₁₆. 7 печ. л. + 8 вкл. (6,59 учетно-авт. листа). Тираж 25 300 экз. Сдано в производство 2/IX 1938 г. Подписано к печати 17/XI 1938 г. Уполномоченный Главлита Б-46606. Заказ № 1135.

Фабрика детской книги Издательства детской литературы ЦК ВЛКСМ. Москва, Сущевский вал, 49.




Цена 3 р.